1

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ

1


ИХЛ

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1926—1940)

СТРАНА МУРАВИЯ

ПОЭМА

ПЕРЕВОДЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

Р2
Т26

Предисловие
К. СИМОНОВА

Примечания
Ю. БУРТИНА и Р. РОМАНОВОЙ

Оформление художника
Г. ЧЕХОВСКОГО

Т $\frac{70402\text{-}327}{028(01)\text{-}76}$ подписное



ОБ АЛЕКСАНДРЕ ТВАРДОВСКОМ

1

Свое последнее прижизненное собрание сочинений, завершающий, пятый том которого лег на стол читателя в 1971 году, Александр Трифонович Твардовский предварил помещенной им в начале первого тома автобиографией. Она доведена до 1965 года и вместила в себя все главные события его жизни и литературной деятельности, с которыми он счел необходимым познакомить читателей.

Открывая настоящим вступительным словом первое посмертное собрание сочинений поэта, мне, понятно, нет необходимости повторять уже сказанное им самим. Свою задачу я вижу в том, чтобы в меру собственного разумения попытаться определить сейчас, через несколько лет после смерти А. Т. Твардовского, какое место он занимал и занимает в нашей литературе и кого она лишилась в его лице.

Начну с того, бесспорного для меня факта, что на протяжении трех с половиной десятилетий, от выхода в свет поэмы «Страна Муравия» и до печатавшейся на рубеже шестидесятых — семидесятых годов лирики последних лет, все, сделанное Твардовским, в своей совокупности являет собой крупнейший вклад в нашу советскую поэзию. И я думаю, что мы вправе уже сегодня называть этого, сравнительно недавно ушедшего из жизни человека великим поэтом — столь неоспоримы масштабы сделанного им и масштабы его влияния на многомиллионного читателя, то есть — в конечном итоге — на духовную жизнь общества.

Попробуем ответить себе на вопрос: как возникло это влияние, в силу каких причин оно росло и усиливалось, постепенно приобретая те особенности, которые позволяют без всяких преувеличений ставить в прямую связь слова *поэт и общество*.

Разумеется, в первооснове всего — тот редкий и щедрый подарок судьбы, который зовут талантом. Но как бы ни был он велик, дело не в нем одном.

Перечитывая ныне заново подряд все созданное Твардовским, с несомненностью видишь, что вошедшие впоследствии в

книгу «Сельская хроника», написанные им в двадцать три года стихи «Гость», «Братья», «Хозяин», «Он до света вставал...» и ряд других уже отмечены печатью крупного поэтического дарования. Но, кроме дарования, в этих стихах очевидна и твердая решимость поэта взяться за глубокую вспашку самых жгучих и трудных проблем времени, которые затрагивали и тревожили души миллионов людей. Жизнь в деревне переворачивалась жестоко, трудно и необратимо, и молодой Твардовский, находясь в гуще этой переворачивавшейся жизни, на собственной судьбе испытывая всю силу и весь драматизм обнажавшихся при этом перевороте противоречий, не убоялся ввязаться стихами в то, что происходило вокруг, не уклонился от определенности во взглядах на совершавшееся.

Думается, что именно внутренняя настоятельная потребность выразить свой взгляд на прошлое, настоящее и будущее крестьянства, чья судьба во многом определяла все последующее развитие нашей страны, и сообщила поэзии Твардовского тот размах, который она приобрела в поэме «Страна Муравия». Дата выхода в свет этой поэмы (1936), с самым малым разрывом во времени, стала началом все более широкого осознания того, немаловажного для нашей литературы факта, что в ней появился поэт, обещающий стать истинно народным.

Стихи Твардовского, вошедшие в его предвоенную книгу «Сельская хроника», написанные и до «Страны Муравии», и одновременно с ней, и после нее, еще больше закрепили в нашем сознании это ощущение, окончательно подтвержденное появившимся уже в годы войны «Василием Теркиным».

Сам Твардовский подходил к эпитету «народный» применительно к литературным произведениям с осторожностью, употребляя его обычно при характеристике того или иного произведения как широко известного, вошедшего в народный обиход, при этом порой даже утратившего имя автора, а иногда и сохранившего, что он особенно высоко ценил, как это явствует из его размышлений о песнях Михаила Исаковского.

Помню, как нередко Твардовский иронизировал по поводу стремления некоторых наших драматургов заранее, еще до встречи с читателями и зрителями, сопровождать свои произведения преждевременными подзаголовками: «народная драма» или «народная комедия». Сам он, сколько мне помнится, никогда — ни в письменной, ни в устной форме — не называл собственные произведения «народными», даже тогда, когда они с полной очевидностью приобретали всенародную известность.

Однако воля к тому, чтобы его произведения доходили до народа, чтобы они имели основание и право стать фактом народной жизни, частью духовного сознания народа, неизменно проявлялась им. И проявлялась не только в ходе работы, но и при самом замысле, и даже на подступах к нему. А этим подступам Твардовскому свойственно было отдавать целые годы размышлений.

В апреле 1940 года, заранее обдумывая — сразу после финской войны — свою «Книгу про бойца», которая создавалась уже в годы Великой Отечественной войны, он записал в дневнике: «...Главное в том, что никто за это дело не возьмется, а если возьмется, то не сделает так, как это сделаю я, если все пойдет похорошему... При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее любимец, нарицательное имя. Для молодежи это должно быть книжкой, которая делает любовь к армии более земной, конкретной... Одним словом, дай бог сил!»

Из этой записи, сделанной для себя, в минуту острейшей для художника радости — предчувствия будущего поэтического подвига, — явствует, что осознание цели и масштабов замысла будущей книги с самого начала связывалось для Твардовского с широтою ее адреса, с обращением через нее, если «даст бог сил», к миллионам людей.

2

О том, как был написан «Василий Теркин», рассказал сам Твардовский в статье, именно так им и названной. В «Книге про бойца» заранее, с самого начала присутствовало данное автором обещание, если не неуязвимости, то во всяком случае — в пределах повествования — бессмертия Теркина. Автору, по его словам, «просто жалко молодца». Но за этими шутливо, с улыбкой сказанными словами скрывается глубокий смысл.

Само жизнелюбие Теркина, его жизнестойкость в своей сущности, в первооснове являлись верой в победу, в бессмертие и непобедимость народа.

Читая строки:

> С первых дней годины горькой
> Мир слыхал сквозь грозный гром, —
> Повторял Василий Теркин:
> — Перетерпим, перетрем... —

нельзя не поразиться решимости Твардовского эти, казалось бы, такие обиходные солдатские слова соотнести с мировым масштабом их резонанса.

«Мир слыхал» — именно так, и не менее того! Хотя сказаны эти слова были всего-навсего солдатом. А в многоточие, следовавшее за словом «перетрем...», укладывалось четыре года войны.

Книга и начинается с того, что Теркин останется жив. И то там, то здесь в похождениях Теркина присутствует вымысел, стоящий где-то на границе полусказки-полубыли. И характеризуя истинность рассказов самого Теркина, Твардовский не раз возвращается к шутливому сомнению — то ли правда, то ли нет в них, в этих солдатских рассказах. Все так, но за всем этим стоит такая истинная и такая жестокая картина войны, какую мог создать только поэт, сам прошедший через нее.

Стоит задуматься над тем объяснением, которое давал Твардовский построению своей книги, не имевшей, по предуведомлению автора, «ни начала, ни конца», поделенной на главы, каждую из которых он стремился сделать в определенной мере законченным самостоятельным целым. Дело в том, что бессмертие своему герою в пределах книги Твардовский обещать мог, а бессмертия читателю, главному в ту пору фронтовому читателю этой книги, — не мог и не брался. Он слишком хорошо знал, что те, кто прочтут одну из глав, далеко не всегда дождутся возможности прочесть следующую. Достаточно понять одно только это и вспомнить, что книга помечена датами 1941—1945 годов, то есть писалась в разгар войны, чтобы понять неуклонную истинность Твардовского в изображении этой войны.

Да, Теркин не унывает. Он живет на войне и верит в победу, и доходит до этой победы, доходит, даже побывав, как впоследствии, через десятилетия, выяснилось, на том свете. И, кстати сказать, возвращение Теркина к жизни в поэме «Теркин на том свете» означало неизменность взгляда Твардовского на непобедимость народа, на его способность справиться не только с таким величайшим испытанием, как война, но и с такой трудноискоренимой бедой, как бюрократизм. И при всем отличии и даже далекости этой фантастической сатиры Твардовского от его «Книги про бойца» — взгляд этот соответствовал тому символу веры и в жизни, и в поэзии, который неизменно сопутствовал Твардовскому на протяжении всей его деятельности.

Если же вернуться к «Книге про бойца», то мы увидим, с какою настойчивостью, порожденной глубоким осознанием трагизма войны для участвующего в ней человека, обилия приносимых на ней жертв, Твардовский из главы в главу напоминает нам о том, сколь короткое расстояние отделяет человека на войне от гибели,

как близки на ней жизнь и смерть и с какою простотой и решимостью приходится отдавать солдату эту свою единственную жизнь.

— Разрешите доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.

А война — про все забудь
И пенять не вправе.
Собирался в дальний путь,
Дан приказ: «Отставить!»

Так предельно сурово и просто выглядит в «Книге про бойца» проблема бытия и небытия, и это нимало не противоречит ни жизнелюбию автора, ни его необычайному юмору. Необычайному и, добавлю, — необычному для огромного большинства произведений, написанных о войне в ту пору.

Стоит поразмыслить и над другим: судьба Теркина удивительна в том отношении, что несколько раз на протяжении книги он остается в живых поистине чудом. Но идя вместе с Теркиным из главы в главу, видишь, как он последовательно проходит через все те тяжелейшие испытания, которые вынес народ на войне. Он, подобно миллионам солдат, проходит через ад окружения и выбирается из этого ада, чтобы снова воевать. Он познает муку неизвестности о происходящем на том клочке земли, где он родился и где оставлены его близкие. Он разделяет всю силу душевного терзания, что испытывает его товарищ, переживая страшную тяжесть свидания и расставания с женой и с детьми, которых приходится оставить на волю немцев, потому что сделать иначе нельзя, потому что надо уйти, чтобы воевать дальше. Истекая кровью, Теркин лежит на ничейной земле. Он теряет товарищей. Он мучается от мысли о плене, переносит муку госпитальную. А за вроде бы шутливо сказанными словами — «я согласен на медаль» — стоит, тоже основанная на солдатском опыте, солдатская готовность, сделав на войне по чести и совести все, что положено, остаться обойденным наградой.

Если говорить о том, в каком литературном произведении война начинена смертями в той степени, в какой она была начинена ими в действительности, — это именно «Книга про бойца». Когда читаешь ее сейчас, поражаешься тому возникающему у тебя ощущению истинной меры человеческих жертв и потерь, которые были понесены на войне и о которых было сказано полным голосом только через двадцать лет после нее. Но само внутреннее ощущение этой меры потерь, этой страшной двадцатимиллионной

цифры уже существует в «Книге про бойца», написанной среди войны.

И как тут не вспомнить твердо опертые на свой собственный жизненный и литературный опыт слова, сказанные Твардовским в 1962 году о повести «Звезда» только что умершего Эммануила Казакевича, слова, исполненные достоинства и гордости за советскую литературу:

«Это, между прочим, один из примеров, решительно опровергающих вздорные мнения о том, будто бы наша литература в период культа личности не могла создавать ярких и глубоко правдивых книг. Как будто настоящее искусство, кровно связанное с жизнью народа, вообще способно в молчании выжидать особо благоприятных для себя условий!»

И еще одна мысль, связанная с очень давними, еще военного времени литературными спорами об идейности героя «Книги про бойца», о том — если несколько спрямить разные оттенки этих споров — советский ли или просто традиционный, исконно русский солдат — Василий Теркин.

Мне вспомнились эти споры, когда я сейчас заново и заново, с непроходившим душевным потрясением перечитывал главу «Перед боем», одну из самых глубоких и трагических:

...Я дорогою постылой
Пробирался не один.
Человек нас десять было,
Был у нас и командир.

Из бойцов. Мужчина дельный,
Местность эту знал вокруг.
Я ж, как более идейный,
Был там как бы политрук.

Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял:
— Не унывай.

Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы — не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали — все вернем.

Именно на долю командира этого маленького солдатского отряда из десяти окруженцев выпадает у Твардовского горький соблазн остаться в родном доме, именно на его долю приходится горькая мука — покинуть жену с детьми во власти немцев. Нрав-

ственная сила позволила этому человеку остаться на высоте и дала ему право и дальше вести за собой других. Поэтому он и командир. Но Твардовский не оставил этих десять солдат и без комиссара, найдя его в лице Теркина.

В первый момент это кажется вроде бы странным и шутейным, да и сам разговор об этом ведется с оттенком шутки, но когда задумаешься поглубже — приходит мысль: а почему бы и нет? Разве то отношение к жизни и к смерти, к товарищам, к своему долгу и к своей ответственности на войне, что присущи Теркину, не делали его человеком, который способен был и в солдатском звании стать комиссаром этого десятка бойцов, то есть, попросту говоря, выполнить роль, ложащуюся на плечи самого сознательного человека?

Разве не это чувство неукоснительной ответственности сопровождает Теркина через всю войну?

> Грянул год, пришел черед,
> Нынче мы в ответе
> За Россию, за народ
> И за все на свете.

Так просто и сильно сформулирована эта, через всю книгу и через всю войну шагающая вместе с Теркиным от Подмосковья до Берлина мысль об ответственности воюющего советского человека, в конечном итоге — «за все на свете!».

3

Не могу утверждать, что я прав в своем ощущении, но мне всегда казалось, что сам Твардовский какой-то особенной, ранимой и ревнивой любовью любил свое следующее после «Теркина» детище — поэму «Дом у дороги», которой он дал подзаголовок «Лирическая хроника».

Ревнивое это чувство относилось не к чьим-то другим произведениям, — оно было направлено вовнутрь, к самому себе, а точнее — к совсем еще недавно перед этим дописанной «Книге про бойца».

Ее широчайшая известность, ее слава, ни с чем другим — ни тогда, ни, пожалуй, потом — в истории нашей поэзии несравнимые, как бы несколько заслонили, оставили в тени последовавший за этой книгой «Дом у дороги».

Нет, не было недостатка ни в добрых словах критики об этой поэме, ни в высоких общественных оценках, ни в читательской

любви. И все же, так мне, по крайней мере, кажется, вышло, что в сознании читателя как бы все еще стоял «Василий Теркин», — а вот уже появилась и другая, ничуть не менее по своим поэтическим достоинствам высокая вещь — о той же самой войне!

И — опять-таки сужу по собственному первому впечатлению — от этой близости двух произведений во времени, от этой занятости наших чувств и мыслей только что прочитанным до конца «Василием Теркиным» что-то мешало сразу оценить всю меру нового поэтического подвига, совершенного Твардовским.

И, как мне кажется, это чувствовал и сам Твардовский, в глубине души несколько обижаясь на ту несправедливость, когда мысленно поэмы «Василий Теркин» и «Дом у дороги» ставятся одна вслед за другой, а не рядом, как это отвечало их равной поэтической высоте. Равной, именно равной! И притом в «Доме у дороги» сконцентрированной на очень малом пространстве — если соотнести эту короткую поэму с глубиной и силой в ней сказанного.

На самом же деле и «Книга про бойца», и «Дом у дороги» — две вещи, хотя и появившиеся одна вслед за другой, но неразрывно существующие рядом, потому что все пережитое в них и существовало рядом — не только в поэзии, а в действительности, на самой войне, в самой сердцевине испытания, которое обрушилось на народ и было выражено в летописи этого трагичнейшего часа народной истории, созданной Твардовским.

В «Доме у дороги» сказано о той половине жизни, без которой не существует другая, занявшая собою страницы «Книги про бойца», сказано о жене и детях воюющего человека, сказано о том, за что он стал грудью, порой — вначале — не успев заслонить, но потом сделав все, что в силах человеческих, для того, чтобы вернуться и спасти.

Это не новое, конечно, наблюдение для всякого, читавшего обе вещи, но все-таки хочется повторить о «Доме у дороги» — вот она, та половина человеческой и солдатской жизни, с которой так горько расстался Теркин в начале «Книги про бойца», та половина жизни, с которой он встретился где-то на дорогах Германии, откуда возвращались на Восток угнанные в рабство женщины и дети; вот она, вторая половина необъятного замысла поэта — рассказать о народе на войне; вот весь тот трагизм происходящего, который в полном объеме вырастает перед тобой, когда эти поэмы ложатся в сознании рядом, а не одна за другой.

И именно тогда все качества Теркина — его чувство ответственности, и его жизнелюбие, и его, при всем мужестве, не-

отступная мысль о смерти, и его решимость, несмотря ни на что, пройти всю дорогу войны до конца, — все это озаряется еще дополнительным светом той стороны народной трагедии, что совершалась за чертой фронта, где к лету 1942 года оставались, отрезанные от нас, семьдесят, если не больше, миллионов людей.

4

Пытаясь выразить свои мысли о Твардовском, я понял, что, видимо, невозможно одинаково подробно сказать обо всем, входящем в данное собрание сочинений, ибо это собрание сочинений, в общем-то, — вся, или почти вся, жизнь поэта, скупо уложенная в шесть томов. Жизнь большая, трудная, прожитая с полным напряжением сил. Жизнь человека, говоря словами самого Твардовского, «...по праву и по долгу берущего на себя ответственность за все и вся перед лицом людей, с которыми работает и живет человек, которому и нелегко подчас, но он сам избрал эту нелегкость». Жизнь, о которой он уже не прозой, а стихами сказал:

И что мне малые напасти
И незадачи на пути,
Когда я знаю это счастье —
Не мимоходом жизнь пройти.

Не мимоездом, стороною
Ее увидеть без хлопот.
Но знать горбом и всей спиною
Ее крутой и жесткий пот.

Именно об этой жизни, точнее, об огромной части ее, о прожитых после войны первых десятилетиях написана «За далью — даль», которую сам Твардовский не обозначил в собрании своих сочинений ни книгой, как это было с «Василием Теркиным», ни лирической хроникой, как это было с «Домом у дороги». Не обозначил, может быть, потому, что не нашел окончательного определения, а может быть, и не искал его, считал это излишним. Во всяком случае, первоначальный подзаголовок «Из путевого дневника» в дальнейшем, очевидно, показался ему недостаточным и исчез.

В моем представлении «За далью — даль» — это много лет жизни, прожитых и обдуманных и отданных поэтом на суд читателю, который жил в то же время и той же жизнью, — разумеется, за вычетом всех тех отличий, которые обосабливают жизнь одного человека от жизни другого, и все же в силу исторической и социальной общности имел возможность и право сопоставлять свою

жизнь с жизнью поэта. Право соглашаться, спорить, сравнивать, думать и над своей, и над его жизнью, вспоминать прошлое, заглядывать в будущее, поверять прочитанное и собственным восприятием поворотов эпохи, и собственной повседневностью.

Писать о таком произведении, как «За далью — даль», нелегко. Хотя бы потому, что тот доверительный разговор с читателем, который ведет здесь Твардовский, не вызывает желания ни комментировать, ни дополнять его. Характер этого разговора таков, что прежде всего хочется ответить искренностью на искренность, на его рассказ о его жизни — рассказом о своей. Читая книгу, ты, в сущности, мысленно все время и делаешь это — отвечаешь на нее опытом собственной жизни. А сила сказанного Твардовским в том, что он заставляет тебя задумываться над чем-то, о чем ты уже думал и раньше, заново, по-иному — глубже, серьезнее и, самое важное, откровенней и беспощадней к себе. Не это ли является главным нравственным результатом настоящей поэзии?

Одна из глав книги, названная Твардовским «Так это было», ввела в наш обиход вместе с по-грибоедовски вторгшимися в жизнь строками:

Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле... —

ощущение, что нельзя, недопустимо и даже бесчестно подходить к самым трудным страницам нашей истории без этого мужественного, точно сформулированного поэтом критерия.

Однако слова эти относятся не только к той главе книги, в названии которой они звучат. Одновременно они как бы и внутренний эпиграф ко всей книге. И больше того — ко всему, что написал Твардовский, и к его собственной жизни, и к тому принципу, из которого он исходил, готовя свое прижизненное собрание сочинений, представая в нем перед читателем таким, каким был в действительности, ничего не убавляя и не прибавляя — шла ли речь о времени или о себе.

Если же говорить о том, что, не найдя лучшего слова, назову качеством поэзии, мне хочется оценить поэтическое совершенство поэмы «За далью — даль» устами самого Твардовского:

«Совершенство это не что иное, как поразительное по своей живой органичности слияние формы и содержания. И поразительное в своей нормальности», — сказал он в речи, произнесенной им на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 125-летию со дня смерти А. С. Пушкина.

Твардовский не обращался к стихам, чтоб рассказать ими о жизни. Он обращался к жизни стихами и делал это так, словно только так и можно было это делать.

У каждого из нас есть в поэзии свои пристрастия. Обычно они рождены тем, как у тебя самого сложилась жизнь, что́ она отдалила от тебя и что с особенной силой приблизила. Для меня, например, с военной поры и доныне «Василий Теркин» так и остался самым сильным впечатлением от поэзии Твардовского, хотя это и не значит, что я ставлю «Книгу про бойца» выше позднейших и, каждая по-своему, прекрасных поэм Твардовского. Поэзия Твардовского не рождает желания, утверждая одно, отрицать другое; она слишком сильна и слишком едина в своем поэтическом волеизъявлении, попросту — слишком хороша для того, чтобы мысленно пускать его поэмы по соседним беговым дорожкам, выясняя, какая какую обойдет. Дорога всегда была одна, никаких соседних и боковых не было — дорога от него к нам, от поэта — к нашим читательским душам. А что из посланного им за его жизнь по этой прямой дороге с наибольшей силой толкнулось в твою душу — зависит не только от него, но и от тебя, от твоего собственного восприятия и поэзии, и жизни.

Я говорил сейчас о поэмах Твардовского, но хочу добавить, что в моем ощущении его лирика последних лет, стихи, которые он писал, чувствуя и груз лет, и тяжесть подступавшей к нему болезни, стали одной из вершин нашей советской поэзии за все годы ее истории. В немолодом, куда более заскорузлом для потрясения поэзией возрасте, чем тот, в котором я когда-то в годы войны читал «Теркина», лирика Твардовского последних лет его жизни с тою же силой вторглась в мою душу. И поразило не то, как она написана, хотя и это поразительно, а то, как в ней надолго вперед *подумано* о жизни, с какой глубиной, печалью и мужеством, заставляющими заново подумать о самом себе, о том, как живешь и как работаешь.

В данном, и добавлю — единственном, случае я позволил себе привести здесь несколько строк из своих, ранее напечатанных записок об А. Т. Твардовском, потому что не сумел найти других, лучших слов для выражения этой мысли, которая продолжает казаться мне существенной.

5

Несколько слов о прозе Твардовского. По-настоящему, всю сразу, я прочел его прозу, включенную в это собрание сочинений, только теперь. И только теперь до конца осознал и всю связан-

ность ее с его стихами, и все ее самостоятельное значение в литературе, в особенности если говорить о таких лучших ее образцах, как рассказы «Печники», «Костя», как многие страницы из «Родины и чужбины» и фронтовой тетради, веденной Твардовским на Карельском перешейке.

Я старался не злоупотреблять цитатами из стихов Твардовского. Хотя соблазн был велик, удерживало сознание, что почти все, что мне хочется процитировать, и без того на памяти у большинства читателей Твардовского.

Но проза его куда менее широко известна, и я решаюсь привести хотя бы две выдержки из нее, чтобы объяснить свое восприятие Твардовского как прозаика:

«Лицо танкиста так иссохло, что было маленькое, почти детское. Оно было черное, совершенно черное. Волосы наполовину обгорели, ото лба, на макушке торчали торчком — от мороза, что ли. Рука у него была тоже невероятно маленькая».

И еще одна выдержка тоже из фронтовой тетради:

«Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все. Нужно еще удивляться, как удерживается какое-нибудь имя в списках награжденных. Все, все подчинено главной задаче — успеху, продвижению вперед. А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы».

Какое удивительно острое чувство малости человека на войне — и малости психологической, перед лицом огромности общего, и малости физической — маленькой мертвой руки, маленького тела!

Как эта сдержанная дневниковая проза вплотную подводит к стихотворению о том же самом, к единственному, короткому, но потрясающему, начинающемуся строкой, связанной с тем первым, прозой записанным, личным потрясением:

Из записной потертой книжки...

«Родина и чужбина». Только сейчас я до конца ощущаю всю силу этих записок, их поразительную добросовестность. Испытываешь глубокое уважение к Твардовскому, особенно по контрасту ко всему тому, размашисто и неточно написанному некоторыми

авторами о войне после войны, когда, случается, сами их подлинные воспоминания — лишь отправная точка, на которую потом накручивается много приблизительного и до неузнаваемости недостоверного.

Твардовский в 1947 году берет из своих фронтовых воспоминаний лишь то, что кажется ему неоспоримо существенным. Лишь то, что с абсолютной точностью запомнено и запасено для дела. Поэтому-то они так и густы, эти воспоминания, что их хватило бы, наверное, на многотомный роман о войне.

И об этом невольно думаешь, когда вспоминаешь высказывания Твардовского о его планах будущей большой прозы.

Не знаю, какую бы прозу он писал, может быть, и военную, потому что, в моем восприятии, с войной ему, очевидно, тоже надо было рассчитаться не только в поэзии.

Из фронтовых записей Твардовского возникает жестокое ощущение войны, чувствуешь его проникновение в беспощадность самого ее механизма, его бестрепетное понимание места личности в истории и места истории в жизни личности на войне. Это понимание поражает, — и невольно возникает чувство потери редкого по силе мысли и мастерства прозаика, только отчасти успевшего осуществить себя при жизни.

6

Последние два тома этого собрания сочинений включают статьи, заметки, выступления А. Т. Твардовского о литературе, в большинстве своем печатавшиеся при его жизни, и значительную часть его обширной переписки, с которой, если не считать некоторых предварительных публикаций, читатель познакомится впервые.

Содержание этой переписки, в значительной мере связанной с шестнадцатью годами редакторской работы в «Новом мире», находится в нерасторжимом единстве со всем, сделанным Твардовским в поэзии и в прозе, свидетельствуя о широте его познаний, касающихся и жизни общества, и литературы, о его последовательности и принципиальности.

Принципиальность эта выражалась не только в твердости позиции и нелицеприятности оценок, но и в том, как он относился к своей переписке и с известными литераторами, и с начинающими авторами.

Каждое его письмо было плодом серьезного труда. К каждому своему высказыванию о литературе он относился с той же ответ-

ственностью и тщанием, как к самой литературе, вполне сознавая значение всякого сказанного им слова.

По его письмам можно проследить цельность и определенность его взглядов.

Он был человеком, не страшившимся критиковать ни недостатки нашего общества, деятелем которого он был, ни нашу литературу, высокое назначение которой и силу ее влияния на общество он и сознавал и отстаивал.

Добавлю, что, при всей свойственной ему остроте критической мысли, ему была в высшей степени чужда позиция жалобщика на несовершенства общества, к которому он сам принадлежал.

Он гордился этой своей принадлежностью и не терпел всеядных, расплывчатых формулировок, когда речь шла о том, что ему дорого и чему он посвятил свою жизнь.

«...Для меня, я попросту скажу, гуманизм — это развитый социализм и коммунизм. Так я понимаю это слово. Оно для меня освещено этим светом», — говорил он в моем присутствии осенью 1965 года в Риме перед разноплеменной писательской аудиторией, значительная часть которой надеялась и даже жаждала услышать от него нечто совсем другое.

Заключу сказанное еще одной выдержкой из прозы Твардовского, из его «Заметок с Ангары»:

«Это была та самая, всегда трогательная и, в сущности, замечательнейшая черта наших хороших людей, которая западала мне в сердце и ранее, до встречи с Иваном Евдокимовичем, и после нее, в продолжение всей моей поездки по новым для меня местам. Она выражается в том, что люди, подобно добрым и гордым хозяевам, не хотят говорить гостю с первых же слов о всяких мелочных неурядицах и недохватках в их дому, а ревниво и настойчиво обращают его внимание на то, что составляет главный их жизненный интерес и предмет их чести».

Это было сказано о рядовом строителе, своем смоленском земляке.

Но, в сущности, это было сказано и о себе. Потому что именно таким был и он сам — Александр Твардовский.

> ...Еще и впредь мне будет трудно,
> Но чтобы страшно —
> Никогда.

С этим он жил, с этим и встретил смерть на шестьдесят втором году от роду.

Константин Симонов

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я в Смоленщине, в 1910 году, 21 июня, на «хуторе пустоши Столпово», как назывался в бумагах клочок земли, приобретенный моим отцом, Трифоном Гордеевичем Твардовским, через Поземельный крестьянский банк с выплатой в рассрочку. Земля эта — десять с небольшим десятин,— вся в мелких болотцах — «оборках», как их у нас называли, и вся заросшая лозняком, ельником, березкой, — была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. И нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но *нашей* земле —нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Местность эта была довольно дикая, в стороне от дорог, и отец, замечательный мастер кузнечного дела, вскоре закрыл кузницу, решив жить с земли. Но ему то и дело приходилось обращаться к молотку: арендовать в отходе чужой горн и наковальню, работая исполу.

В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно и, может быть, тем труднее, что наша фамилия в обычном обиходе снабжалась еще шутливо-благожелательным или ироническим добавлением «пан», как бы обязывая отца тянуться изо всех сил, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать ее. Между прочим, он любил носить шляпу, что в нашей местности, где он был человек «пришлый», не коренной, выглядело странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было «не как у людей».

Отец был человеком грамотным и даже начитанным по-деревенски. Книга не являлась редкостью в нашем домашнем обиходе. Целые зимние вечера у нас часто отдавались чтению вслух какой-либо книги. Первое мое знакомство с «Полтавой» и «Дубровским» Пушкина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, популярнейшими стихотворениями Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, Никитина произошло таким именно образом. Отец и на память знал много стихов: «Бородино», «Князя Курбского», чуть ли не всего ершовского «Конька-Горбунка». Кроме того, он любил и умел петь,— смолоду даже отличался в церковном хоре. Обнаружив, что слова общеизвестной «Коробушки» только малая часть «Коробейников» Некрасова, он певал при случае целиком всю эту поэму.

Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечатлительна и чутка, даже не без сентиментальности, ко многому, что находилось вне практических, житейских интересов крестьянского двора, хлопот и забот хозяйки в большой многодетной семье. Ее до слез трогал звук пастушьей трубы где-нибудь вдалеке за нашими хуторскими кустами и болотцами, или отголосок песни с далеких деревенских полей, или, например, запах первого молодого сена, вид какого-нибудь одинокого деревца и т. п.

Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда — ничего от стиха, но я отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого — и лада, и ряда, и музыки, — желание родить их на свет — и немедленно, — чувство, сопутствующее и доныне всякому новому замыслу.

Что стихи можно сочинять самому, я понял в связи с тем, что гостивший у нас в голодное время летом дальний наш родственник по материнской линии, хромой гимназист, как-то прочел по просьбе отца стихи собственного сочинения «Осень»:

Листья давно облетели,
И голые сучья торчат...

Строки эти, помню, потрясли меня тогда своей выразительностью: «голые сучья» — это было так просто,

обыкновенные слова, которые говорятся всеми, но это были стихи, звучащие, как из книги.

С того времени я и пишу. Из первых стихов, внушивших мне какую-то уверенность в способности к этому делу, помню строчки, написанные, как видно, под влиянием пушкинского «Вурдалака»:

Раз я позднею порой
Шел от Markднова домой.
Трусоват я был немного,
И страшна была дорога:
На лужайке меж ракит
Шупень старый был убит...

Речь шла об одинокой могиле на середине пути до деревни Ковалево, где жил наш родственник Михайло Markднов. Похоронен в ней был некто Шупень, убитый на том месте. И хотя никаких ракит там поблизости не было, никто из домашних не попрекнул меня этой неточностью: зато было складно.

По-разному благосклонно и по-разному с тревогой относились мои родители к тому, что я стал сочинять стихи. Отцу, человеку очень честолюбивому, это было лестно, но из книг он знал, что писательство не сулит больших выгод, что писатели бывают и не знаменитые, безденежные, живущие на чердаках и голодающие. Мать, видя мою приверженность к таким необычным занятиям, по-своему чуяла в ней некую печальную предназначенность моей судьбы и жалела меня.

Лет тринадцати я как-то показал свои стихи одному молодому учителю. Ничуть не шутя, он сказал, что так теперь писать не годится: все у меня до слова понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано,— таковы современные литературные требования. Он показал мне журналы с некоторыми образцами тогдашней — начала двадцатых годов — поэзии. Какое-то время я упорно добивался в своих стихах непонятности. Это долго не удавалось мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое сомнение в своих способностях. Помнится, я, наконец, написал что-то уж настолько непонятное ни с какого конца, что ни одной строчки вспомнить не могу оттуда и не знаю даже, о чем там шла речь. Помню лишь факт написания чего-то такого.

С 1924 года я начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет. Писал о неисправных мостах, о комсомольских субботниках, о злоупотреблениях местных властей и т. п. Изредка заметки печатались. Это делало меня, рядового сельского комсомольца, в глазах моих сверстников и вообще окрестных жителей лицом значительным. Ко мне обращались с жалобами, с предложениями написать о том-то и том-то, «протянуть» такого-то в газете... Потом я отважился послать и стихи. В газете «Смоленская деревня» летом 1925 года появилось мое первое напечатанное стихотворение «Новая изба». Начиналось оно так:

Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стены блестят.
Хорошо заживем мы с весною
Здесь на новый, советский лад...

После этого я, собрав с десяток стихотворений, отправился в Смоленск к М. В. Исаковскому, работавшему там в редакции газеты «Рабочий путь». Принял он меня приветливо, отобрав часть стихотворений, вызвал художника, который зарисовал меня, и вскоре в деревню пришла газета со стихами и портретом «селькора-поэта А. Твардовского».

Михаилу Исаковскому, земляку, а впоследствии другу, я очень многим обязан в своем развитии. Он, может быть, единственный из советских поэтов, чье непосредственное влияние я всегда признаю и считаю, что оно было благотворным для меня. В стихах своего земляка, уже известного в наших краях поэта, я увидел, что предметом поэзии может и должна быть окружающая меня жизнь советской деревни, наша непритязательная смоленская природа, собственный мой мир впечатлений, чувств, душевных привязанностей. Пример его поэзии обратил меня в моих юношеских опытах к существенной объективной теме, к стремлению рассказывать и говорить в стихах о чем-то интересном не только для меня, но и для тех простых, не искушенных в литературном отношении людей, среди которых я продолжал жить. Ко всему этому, конечно, необходима оговорка, что писал я тогда очень плохо, ученически беспомощно, подражательно.

В развитии и росте моего литературного поколения было, мне кажется, самым трудным и для многих моих

сверстников губительным то, что мы, втягиваясь в литературную работу, выступая в печати и даже становясь уже «профессиональными» литераторами, оставались людьми без сколько-нибудь серьезной общей культуры, без образования. Поверхностная начитанность, некоторая осведомленность в «малых секретах» ремесла питала в нас опасные иллюзии.

Обучение мое прервалось по существу с окончанием сельской школы. Годы, назначенные для нормальной и последовательной учебы, ушли. Восемнадцатилетним парнем я приехал в Смоленск, где не мог долго устроиться не только на учебу, но даже на работу — по тем временам это было еще не легко, тем более что специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработок и обивать пороги редакций. Я и тогда понимал незавидность такого положения, но отступать было некуда,— в деревню я вернуться не мог, а молодость позволяла видеть впереди, в недалеком будущем только хорошее.

Когда в московском «толстом» журнале «Октябрь» М. А. Светлов напечатал мои стихи и кто-то где-то отметил их в критике, я заявился в Москву. Но получилось примерно то же самое, что со Смоленском. Меня изредка печатали, кто-то одобрял мои опыты, поддерживал ребяческие надежды, но зарабатывал я ненамного больше, чем в Смоленске, и жил по углам, койкам, слонялся по редакциям, и меня все заметнее относило куда-то в сторону от прямого и трудного пути настоящей учебы, настоящей жизни. Зимой тридцатого года я вернулся в Смоленск и прожил там лет шесть-семь, до появления в печати поэмы «Страна Муравия».

Период этот — может быть, самый решающий и значительный в моей литературной судьбе. Это были годы великого переустройства деревни на основе коллективизации, и это время явилось для меня тем же, чем для более старшего поколения — Октябрьская революция и гражданская война. Все то, что происходило тогда в деревне, касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением. В Смоленске я, наконец, принялся за нормальное учение. С помощью ныне покойного смоленского партийного работника

А. Н. Локтева поступил я в Педагогический институт без приемных испытаний, но с обязательством сдать в первый год все необходимые предметы за среднюю школу, в которой я не учился. Мне удалось в первый же год выравняться с моими однокурсниками, успешно закончить второй курс, с третьего я ушел по сложившимся обстоятельствам и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ), куда поступил осенью тридцать шестого года.

Эти годы учебы и работы в Смоленске навсегда отмечены для меня высоким душевным подъемом. Никаким сравнением я не мог бы преувеличить испытанную тогда впервые радость приобщения к миру идей и образов, открывшихся мне со страниц книг, о существовании которых я ранее не имел понятия. Но, может быть, все это было бы для меня «прохождением» институтской программы, если бы одновременно меня не захватил всего целиком другой мир — реальный нынешний мир потрясений, борьбы, перемен, происходивших в те годы в деревне. Отрываясь от книг и учебы, я ездил в колхозы в качестве корреспондента областных газет, вникал со страстью во все, что составляло собою новый, впервые складывающийся строй сельской жизни, писал статьи, корреспонденции и вел всякие записи, за каждой поездкой отмечая для себя то новое, что открылось мне в сложном процессе становления колхозной жизни. Около этого времени я совсем разучился писать стихи, как писал их прежде, пережил крайнее отвращение к «стихотворству» — составлению строк определенного размера с обязательным набором эпитетов, подыскиванием редких рифм и ассонансов, стремлением попасть в известный, принятый в тогдашнем поэтическом обиходе тон.

Моя поэма «Путь к социализму», озаглавленная так по названию колхоза, о котором шла речь, была сознательной попыткой говорить в стихах обычными для разговорного, делового, отнюдь не «поэтического» обихода словами:

> В одной из комнат бывшего барского дома
> Насыпан по самые окна овес.
> Окна побиты еще во время погрома
> И щитами завешаны из соломы,
> Чтобы овес не пророс
> От солнца и сырости в помещенье.
> На общем хранится зерно попеченье...

Поэма, выпущенная по рекомендации очень благожелательного к молодым Эд. Багрицкого в 1931 году издательством «Молодая гвардия», встречена была в печати, в общем, положительно, но я не мог не почувствовать сам, что такие стихи — езда со спущенными вожжами, утрата ритмической дисциплины стиха, проще говоря, не поэзия. И вернуться к стихам в прежнем, привычном духе я уже не мог. Новые возможности погрезились мне в организации стиха из его элементов, входящих в живую речь, — из оборотов и ритмов пословицы, поговорки, присказки. Вторая моя поэма «Вступление», вышедшая в Смоленске в 1932 году, была данью таким именно односторонним поискам «естественности» стиха:

Жил на свете Федот,
Был про него анекдот:
— Федот, каков умолот?
— Как и в прошлый год.
— А каков укос?
— Чуть не целый воз.
— А как насчет сала?
— Кошка украла...

По материалу, содержанию, даже намечавшимся в общих чертах образам обе эти поэмы подготовляли «Страну Муравию», написанную в 1934—1936 годах. Но для этой новой моей вещи я должен был на собственном трудном опыте разувериться в возможности стиха, который утрачивает свои основные природные начала: музыкально-песенную основу, энергию выражения, особую эмоциональную наполненность.

Пристальное знакомство с образцами большой отечественной и мировой поэзии и прозы подарило мне еще такое «открытие», как законность условности в изображении действительности средствами искусства. Условность хотя бы фантастического сюжета, преувеличение и смещение деталей живого мира в художественном произведении перестали мне казаться пережиточными моментами искусства, противоречащими реализму изображения. А то, наблюденное и добытое из жизни мною лично, что я носил в душе, гнало меня к новой работе, к новым поискам. То, что я знаю о жизни, — казалось мне тогда, — я знаю лучше, подробней и достоверней всех живущих на свете, и я должен об этом рассказать. Я до сих пор считаю такое

чувство не только законным, но и обязательным в осуществлении всякого серьезного замысла.

Историю замысла «Страны Муравии», подсказанного одним из тогдашних выступлений А. А. Фадеева, я позднее изложил в специальной заметке «О «Стране Муравии».

Со «Страны Муравии», встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писаниям, которые могут характеризовать меня как литератора. Выход этой книги в свет послужил причиной значительных перемен и в моей личной жизни. Я переехал в Москву; в 1938 году вступил в ряды Коммунистической партии; в 1939 году окончил МИФЛИ, выпустил книгу новых стихов «Сельская хроника».

Осенью 1939 года я был призван в армию и участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию. По окончании похода я был уволен в запас, но вскоре вновь призван и, уже в офицерском звании, но в той же должности спецкорреспондента военной газеты, участвовал в войне с Финляндией. Месяцы фронтовой работы в условиях суровой зимы сорокового года в какой-то мере предварили для меня военные впечатления Великой Отечественной войны. А мое участие в создании фельетонного персонажа «Васи Теркина» в газете «На страже Родины» (ЛВО) — это по существу начало моей основной литературной работы в годы Отечественной войны. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первых дней отличили ее от каких бы то ни было иных войн, и тем более военных кампаний. Это, конечно, и определило существенное отличие теперешнего «Василия Теркина» от того, прежнего, «Васи».

Историю зарождения и создания этой моей книги я пытался подробнее изложить в своей статье «Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям)». Здесь же скажу только, что «Книга про бойца», каково бы ни было ее собственно литературное значение, в годы войны была для меня истинным счастьем: она дала мне ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся, непринужденной форме изложения. «Теркин» был для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем — воюющим советским человеком,— моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и при-

сказкой, разговором по душам и репликой к случаю. Впрочем, все это, мне кажется, более удачно выражено в заключительной главе самой книги.

Почти одновременно с «Теркиным» и стихами «Фронтовой хроники» я начал еще на войне, но закончил уже после войны, поэму «Дом у дороги». Тема ее — война, но с иной стороны, чем в «Теркине»,— со стороны дома, семьи, жены и детей солдата, переживших войну. Эпиграфом этой книги могли бы быть строки, взятые из нее же:

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Всегда наряду со стихами я писал прозу — корреспонденции, очерки, статьи, рассказы; выпустил еще до «Муравии» нечто вроде небольшой повести — «Дневник председателя колхоза» — результат моих деревенских записей «для себя». В 1947 году опубликовал книгу о минувшей войне «Родина и чужбина»; вместе с последующими очерками и рассказами она входит в 4-й том настоящего издания. В замыслах же и предположениях на будущее проза издавна занимает у меня, пожалуй, наиболее обширное место.

Связанный со Смоленщиной не только памятью отчих мест, детства и ранней юности, годами жизни в Смоленске в пору моего литературного ученичества, но и годами войны, когда вместе с частями фронта вступал на пепелища освобождаемой от оккупантов родной стороны, я и в послевоенные годы не утрачивал этой связи. Не удивительно, что мотивы и образы «смоленской стороны» так часто представлены во всех моих стихах и поэмах, рассказах и очерках.

Но так же естественно, что с годами, с расширением жизненного и литературно-общественного опыта, поездками по стране и за ее пределы — расширялось и, так сказать, поле действительности, становившейся основой моих писаний.

Могу сказать, что если Смоленщина, со всей ее неповторимой и бесценной для меня памятью, досталась мне, как говорится, от отца с матерью, то уже, например, Сибирь, с ее суровой и величественной красой, природными богатствами, гигантскими стройками и сказочно-широкими перспективами, я обретал для себя уже сам в

зрелые годы. Правда, интерес и влечение к Сибири и Дальнему Востоку были у меня задолго до моих поездок в эти края, с отроческих лет, под влиянием книг и отчасти переселенческих мечтаний и планов отца, то и дело возникавших у него в полном противоречии с привязанностью к своему загорьевскому «имению».

Эту новую мою связь — связь с «иными краями» — я сознательно развиваю и укрепляю с конца сороковых годов, когда впервые побывал на востоке страны, и она непосредственно сказалась в главной моей работе пятидесятых годов — книге «За далью — даль».

Одновременно с этой книгой, а также лирикой, очерками и статьями, в эти годы писалась поэма «Теркин на том свете». Она, конечно, не является «продолжением» «Василия Теркина» в смысле многочисленных читательских предложений на этот счет, по поводу которых я давал свои объяснения в «Ответе читателям», хотя и связана с «Книгой про бойца» непосредственно взятым из нее образом героя. Она возникла из иного, главным образом сатирического задания и обращена к некоторым сторонам послевоенной действительности в том духе, как их оценивали XX и XXII съезды нашей партии.

В эти же годы значительную часть своего рабочего времени уделял редактированию журнала «Новый мир».

Как только автобиография оставляет форму прошедшего времени, продолжение ее как таковой становится, по крайней мере, нескромным и уж во всяком случае не может заменить собою делания ее, то есть написания новых вещей, о которых автору позволительнее высказываться после их появления перед судом читателя.

1947 —1965

СТИХОТВОРЕНИЯ

УРОЖАЙ

Дышат грудью запотелой
Желтогривые овсы.
Чем-то теплым,
Чем-то спелым
Веет с нашей полосы.

Дай ступну ногой босою
По колючему жнивью.
Дай блестящею косою
Срежу полосу мою.

Под овсяный говор нивы
Жарким потом обольюсь.
Я вдвойне тогда счастливый,
Если вволю потружусь.

На гумне под темной крышей
Отдохнут в скирдах снопы.
Утро раннее услышит,
Как зазвякают цепы.

На душе простор-веселье,
Непочатый счастья край...
Валит хлеб златой метелью.
Здравствуй,
Новый урожай.

1926

РОДНОЕ

Дорог израненные спины,
Тягучий запах конопли...
Опять знакомые картины
И тихий вид родной земли...

Я вижу — в сумерках осенних
Приютом манят огоньки.
Иду в затихнувшие сени,
Где пахнет залежью пеньки.

На стенке с радостью заметить
Люблю приклеенный портрет,
И кажется, что тихо светит
В избе какой-то новый свет.

Еще с надворья тянет летом,
Еще не стихнул страдный шум...
Пришла «Крестьянская газета»,
Как ворох мужиковских дум.

А проскрипит последним возом
Уборка хлеба на полях,
И осень закует морозом
В деревне трудовой размах...

Придет зима. Под шум метелей,
В читальне, в радостном тепле,
Доклад продуманный застелет
Старинку темную в селе...

1926

В ГЛУШИ

До заморозка в город не пробиться
Сквозь неживой болотный полукруг.
Как редко залетающие птицы,
Доходят письма из любимых рук.

В заветный день распутица и дождь
Дорогу удлиняют как нарочно.
И на два дня запаздывает почта,
А тут вестей нетерпеливо ждешь...

Внушителен и важен почтальон,
Как перевод с казенною печатью.
И холодно не замечает он,
Что, торопя его, готов кричать я.

Перебираю письма до конца,
Растерянно и нервно беспокоясь.
Так тяжело бывает встретить поезд,
Не отыскав знакомого лица.

1926

ВЕСЕННИЕ СТРОЧКИ

1

Утренник лег на дорогу
Ровным сухим полотном.
Не торопясь, понемногу
Солнце встает над бугром.

Солнце, как тонкий орешник,
Выросло медным кустом.
Заговорила скворешня —
Маленький радостный дом.

Желтое стадо проталин
В поле проснулось, живет...
Радость угретых завалин,
Радость открытых ворот.

2

Оттаял перемерзший хутор,
На солнце окна прослезил.
И только заморозок утра
Кладет дорогу по грязи.

Лишь утром прорезают сани
У перелеска тишину.
А к полдню — полем солнце тянет
Большую теплую весну.

Из синевы чужого края
В затишье чуткое болот
Журавушки, перекликаясь,
Свершают новый перелет...

1927

МАТЕРИ

Я помню осиновый хутор
И детство — разбегом коня...
Я помню, ты каждое утро
Корову пасла за меня.

Покуда я спал, улыбаясь,
С сухим армяком в головах,
Ты — тихая и простая —
Корову кормила в кустах...

Ногами росу обсыпала,
Сбирала грибы на заре...
А с солнышком — все просыпалось
На вызолоченном дворе.

И шел я на позднюю смену,
Спешила ты печь затоплять...
И пахло подкошенным сеном,
И тихо дымились поля.

(1927)

РОДНАЯ КАРТИНА

Куда ни глянь — открытые для взора,
Бегут поля в полосках межевых...
Серебряными блюдами — озера
Расставлены в прогалипах сырых...
Ничуть не подрастающий сосопник
Засыпал редко луговую даль...
Здесь, словно резвые и молодые кони,
Промчались детские мои года...
У кладбища, сгущаясь синим бором,
Сосонник говорлив и жутко тих...
Болота...
И болотные озера
Серебряными блюдами на них.

⟨1927⟩

НОЧНОЙ СТОРОЖ

Совсем готовым встретил вечер,
Оделся, осмотрел ружье...
Всю ночь другим заняться нечем —
Чубук с досадою жует.

Темнеет стежка у постройки,
Вперед, назад — и никаких!..
Трезор — и тот давно притих,
А ты ходи, а хочешь — стой тут.

И сапоги и полушубок
На ветре будто стиснет лед.
Не потому ль чужого грубо
Окликнет сторож:
— Кто идет?!

Но сторожить и стынуть надо,
Чтоб сделать кто беду не мог.
Незаменимый, как замок,—
Во всей стране такой порядок.

Поеживаясь в полушубке,
О ногу шаркая ногой,
Всю ночь, не выпуская трубки,
Похаживает ночной...

1927

ПЕРЕВОЗЧИК

Стада неторопливых волн
Скрываются за поворотом...
Незнамо сколько здесь живет он
И кто его сюда привел.

Как пена сед. Какой же прок?
Когда придет успокоенье?
Всю жизнь он правил поперек
Неустающего теченья.

К другим с сединами покой
Приходит верною походкой.
А тут зовут паром и лодку
И днем, и в тишине ночной.

На крик послушно торопись
Для пешеходов и обозов...
А кто-то скажет:
— То-то жизнь,
Малина — жизнь у перевоза...

Ни внуков, ни своей избы,
Сиди в землянке, как в колодце.
И — старость... Скоро, может быть,
Его никто не дозовется.

Тогда помянут ли добром,
Не говоря о лучшей славе:
Следа он в жизни не оставил,
Как по руслу реки паром.

1927

УБОРЩИЦА

Где самый ответственный, самый важный
Принимал у стола посетителей робких,—
Она убирает ворох бумажный,
Окурки и спичечные коробки.

У девушки этой тиха походка,
У девушки этой внимательный профиль.
Теперь городская, но только год, как
Ходила жать, убирала картофель.

По-своему просто,— но так скажу ль я,
Как это у ней получается славно? —
Она расставит остывшие стулья,
На которых еще заседали недавно.

И ей, задорной и строгой вместе,
Усталость познавшей, бывает приятно,
Что после уборки все на месте,
Предупредительно и опрятно.

1928

МАТРОСУ

Я узнаю тебя, матрос,
Не только в форме и походке.
Но ты ведь не у моря рос,
Ребенком не качался в лодке.

Я узнаю тебя, земляк,
За твой уезд везде поспорю,
А ты давно, не знаю, как
И где, впервые вышел в море.

И любишь ли припоминать,
Когда остынет штиль вечерний,
Как все — отцовский край и мать
В какой-то северной губернии?

Как дальний рейс, за годом год
Плывет медлительно и точно,
А мать письма от сына ждет,
За выгоном встречая почту.

Она, надежды не тая,
Хранит твои скупые вести.
Желтеет карточка твоя
У ожидающей невесты...

1928

ДУМЫ О ДАЛЕКОМ

Белый домик, белый городок,
Белые дымящиеся стежки.
Как далек, немыслимо далек
Ровный край ячменя и картошки.

Воздух горьковатый, как миндаль,
День, как море — полон и просторен.
Никогда, никто мне не повторит
Ни строкой, ни краской эту даль.

Над узором этих мелких строк
Я сижу у низкого окошка...
Белый домик, белый городок,
Белые дымящиеся стежки...

⟨1928⟩

ПОЕЗДА

В предутренний ненастный час
Мы чувствуем сквозь сон,
Как паровозы, горячась,
Грохочут под уклон,
Как под колесные лады
Дрожит сухой песок.
И медленно вползает дым
На встреченный лесок.
Мы понимаем, что всегда —
Сквозь ветры, дождь и снег —
Не замедляют поезда
Неустающий бег.
И сотни верст перебежав,
Окутав гарью степь,—
Один какой-нибудь состав
Везет столицам хлеб.
А где-то —
На пути другом —
Другой
Гремит в ответ.
И пахнет нефтью и углем
Его дрожащий след...
Колеса весело стучат
Неукротимый такт.
И пять и десять лет назад
Они стучали так.
Они выстукивали то ж
Над тихим стоном шпал,
Когда свинцовый гладкий дождь
Вагоны осыпал.
Когда
На голод, кровь и тиф,
Хрипя от мерзлых дров,

Сдавал в пути локомотив —
Последний
Вздох паров.
Вагоны двигались,
пока
Их торопил огонь,
Потом
Ржавели в тупиках,
Уставши от погонь.
В какой-то день
Пришли туда
Большие мастера.
И оживали поезда,
Вставали на «ура»!..
Был радостен
Под песню труд,
Под песню день работ...
Да, песни многие умрут,
Но эта —
Не умрет.
Она переживет года
И не сгорит в огне.
Ее напомнят поезда,
Как в это утро мне.

1928

КАНИКУЛЫ

Остынут сухие ступени,
Нагретые шарканьем ног.

Пустынный покой опустенья.
На срок онемевший звонок.

Часы никого не тревожат
И тикают для себя,
Но сторожа раньше уложат
И честно его усыпят.

Ему благодатно остаться,
И он одиночеству рад...
А там, у встревоженных станций
Подводы встречают ребят.

Шикарно,
                    откинувшись в сани,
Заправиться сеном сухим.
И зимними ехать лесами,
И выглядеть городским.

А к ночи восторженно скоро,
Часов не заметив в пути,
Вчерашнего дня городского
Невымерзший запах внести.

⟨1929⟩

ПЕСНЯ УРОЖАЯ

Бесхлебицу недавнюю
Навеки провожай:
Выходит с песней славною
Высокий урожай!..

И песня эта длинная,
В ней выразилось все.
Она шумит машинами
И голосами сел.

Историю подробную
Она передает,
Как мы посевы пробные
Убрали в этот год.

Как вволю попотели мы
На общей полосе
И дружными артелями
Объединились все.

Бесхлебицу недавнюю
Навеки провожай —
Выходит с песней славною
Высокий урожай!

⟨1929⟩

* * *

Друг мой вовремя уехал —
Осознал и сделал милость:
От его сплошного смеха
Неуютно становилось.

Беспечальный славный малый,
Я его люблю, пожалуй.

За него я рад, конечно,
Он сейчас великолепен:
Едет весело и спешно
Через города и степи.
Не теряет и не ищет.
Просто едет, ест и свищет.
Просто хочет быть бывалым. —
Беспечальный славный малый...

Утомясь маршрутом пробным,
Он вернется скуки ради
И расскажет мне подробно
О кавказском винограде.
За моим печальным чаем
И с моею папиросой,
Он охотно отвечает,
Но не задает вопросов.
Фотографию позволит
Посмотреть издалека мне,
Где над морем и на камне
Он сидит по доброй воле.
В белых брюках,
Ноги свесив.
Лично он сидит у моря.
И подсказывает:
— Смейся, —

Это ж самая умора.—
Вечно он смеяться будет
Невзирая на погоду.
Говорят, такие люди
Будут нам нужны в походах.
Каркала ему гадалка
Умереть от пули шалой.
Мне и папирос не жалко —
Я его люблю, пожалуй.

Может быть, и не хочу я,
Но когда протест бесплоден —
Пусть себе переночует:
У меня диван свободен.

1929

ЯБЛОКИ

Спать и слышать яблока паденье
Сторожу садовому наказ.
Сторожу за ревность платят деньги,
Говоря об этом всякий раз.

Сторожа, укрывшись в шалаши,
Ожидают воровской души.

По малейшему ночному звуку,
Захватив тотчас берданку в руку,
В темноту бегут по одному,
Наклонясь от сучьев, как в дыму.

Днем они осматривают сад.
Может, яблоки считают: все ли?
Может, смотрят — так ли все висят,
Как вчера на веточках висели.

Сад смотреть — заняться больше нечем,
Кроме разговоров и махорки.
Вот и смотрят, пробуют подпорки,
Словно в церкви поправляют свечи.

Да, по осени бывает случай —
Груза не выдерживают сучья.
И тогда, понятно, сторожа
За увечье дерева дрожат.

Строго отвечают перед каждым
Из артельщиков — своих же граждан.
Настрого блюдутся сторожами
Яблок дорогие урожаи.

...Каждый год — который год подряд —
Открывается на праздник сад.
Со знаменами, с толпой нарядной,
С духовою музыкой парадной.

Председатель говорит, а рядом
Появляется второй оратор.
Это — представитель городской,
Машет он уверенно рукой.

И рукою этою берет
Только что упавший плод.

Яблоко ворочает рука.
И внимателен оратор так,
Словно хочет видеть червякá,
Что бывает в яблоке червяк.

За оратором в одном порядке
Все берут какой угодно сорт:
Хочешь сладких, хочешь кисло-сладких,
Можешь бабушкино и апорт.

Кое-кто вздыхает огорченно,
Думая о яблоках печеных...
Все едят на месте, но любой
При желанье может взять с собой.

...Хочется представить напоследки,
Что возможно, в этот час в саду
На виду,
Облегченные, приподнимались ветки.

1929

ЛЕТО В КОММУНЕ

Мне отвели покой на сеновале
И — как мне спится, ночью узнавали.
И говорили:
— Хорошо на сене! —
И добавляли, стоя у ворот,
Что был удачен сенокос весенний.
— Ну, спите, спите... Славный нынче год.
Хороший год! —
Явился я в июне
И лето провести решил в коммуне.
В поповской шляпе и в костюме белом
Брожу среди общественных угодий
И занимаюсь пустяковым делом
По доброй воле,
По своей охоте.
    Случилось так,
Что я оставлен был
На пасеке.
    Придумано чудесно!
Я деду-пчеловоду подсобил
Копаться в ульях, как игрушки, тесных.
Мне в сетке специальной без привычки
Дышалось трудно, появлялся пот,
В лицо мне пчелы чиркали, как спички,
И на мои сандальи капал мед.
Я отступил на шаг от старика,
Он отбивался: правая рука,
Казалось, лазила по всем карманам.
А пчелы яростно вились над ним.
И руки мне он подавал под дым.
    Довольно дыму!
Кончена работа,
Мы улей закрываем и вдвоем

По саду в гору медленно несем
Тяжелые, сияющие соты.

Я угощал моих хозяев медом
За белыми столами у сарая,—
И шуткою удобной поощряя,
Меня назвал он
Младшим пчеловодом.

⟨1929⟩

ГОСТЕПРИИМСТВО

Трястись в телеге битый день
И не сойти назло,
Минуя столько деревень,
Довольно тяжело...

Теперь, товарищ, не гляди,
Не жди, всему свой срок:
Зайдет и встанет впереди
Опрятный хуторок.

За однобокою сосной —
Последний поворот.
Ты смотришь в книжке записной:
Да, хутор. Самый тот...

Хозяин гостю говорит
Подробно, точно сват,
Про поле, и про фосфорит,
И про суперфосфат.

Сегодня за его столом,
Усевшись рядом с ним,
И ты не будешь лишним ртом,
А гостем дорогим.

Хозяин гостя поведет
На образцовый двор,
Где слышит благородный скот
Дальнейший разговор.

Хозяин в ясли сунет горсть.
И должен сунуть гость.
Он знает ли, что этот корм
Дается по таблице норм?

— Ага, товарищ дорогой,
    Ну, вот... А вот... И вот...—
И дальше за своей рукой
    Товарища ведет.

— Пожалуйста: плодовый сад,
    Какой подбор сортов.
Товарищ мог бы записать
    Количество дерев?..

Хозяин делает лицо
    С такой улыбкой вкось,
Что знает он в конце концов,
    Что у него за гость.

— Поймите, хутор одинок,
    А зависть так сильна.
Хотя единый свой налог
    Досрочно и сполна...

И поднял он картуз, как щит,
    На уровне груди.
Но гость волнуется, спешит,
    Не может погодить.

Дорога к ночи хороша,
    Он едет, курит не спеша
И произносит иногда
    Одно-единственное: «Нн-да!..»

1929

ЧЕТЫРЕ ТОННЫ

(Рассказ бригады)

Семь деревень захватили мы
И в каждом дворе побывали.
Двенадцатый день под угрозой зимы
Картошку заготовляли.

В Юрах у Ивашина, у кулака,
Мы в первый день, по незнанью,
Выпили два горлача молока,
А при разверстке дали ему заданье.

Четыре тонны!..
Ивашин поднялся,
Снял иконы,
В слезах поклялся:
— Нету,— не сойти с места!
Нету,— и бросил на пол тулуп.—
Нету,— и до вашего приезда
Не знали беды
От бедняцких групп...

И неизвестно, кто мы, откуда,
Но только он тоже знает законы!
Стучал кулаком, на столе дрожала посуда
И снятые иконы.

А жена подхватила из люльки ребенка
И — на крыльцо, на улицу, на народ.
А ребенок мучительно-тонко
На руках у нее орет.

Собрались бабы. И как начали:
— Да что ж это такое?..
Дневной грабеж!..

И так человека уже раскулачили,
Не вникают они, молодежь.

Тогда мы в погреб полезли сами,
Позвали свидетелей, видят — полно...
Ивашин унялся, и мы все равно
Четыре тонны
Углем на стене записали.

⟨1930⟩

СТИХИ О ВСЕОБУЧЕ

Пятистенка — с теплым коридором,
Крытая добротным желтым дором,
Пятистенка — с печкою голландской
И с окном широким — «итальянским»,
И с крыльцом, похожим на живот —
И парадный ход,
И черный ход!
В общем — дом живого кулака,
Видимый всегда издалека,
«Украшающий» собой поселок —
Занят,
Оборудован под школу!..
И сюда
Ребят больших и малых
Соберется школьный коллектив,
Тех,
Которым места не хватало,
Тех,
Которым начинать сначала
Грамоту, все сразу захватив.

Ровный свет под потолком блестящим,
Зимние большие вечера —
Вечера
Учебы настоящей,
Шелесты страниц, движение пера.

Гнутся к партам
Головы и груди...
Диаграммы, карты на стене...

Требуются
Грамотные люди нашей стране!..

⟨1930⟩

ТРАКТОРНЫЙ ВЫЕЗД

(Из поэмы «Путь к социализму»)

Светло на улице, и виден сад насквозь,
За садом поле поднимается широкое.
Обходят люди трактор, точно нагруженный воз,
Глядят с почтеньем, ничего не трогая.

Механик рулевого усадил,
Как будто вожжи в руки дал впервые.
Встал на крыло и громко объявил:
— Товарищи! Сегодня первый выезд...

И расступились люди у ворот,
Машине путь с готовностью отмерив,
Не только в то, что по земле пойдет,
Что полетит — готовы были верить.

И трактор тронулся, и все, кто был в селе,
Пошли за ним нестройною колонной.
След в елочку ложился по земле,
Дождем густым и холодком скрепленной...

За сотни лет здесь выходил народ
Так поголовно только в памятные годы.
С надеждами на урожайный год,
С иконами, с попами — крестным ходом...

Запел механик, кто-то выше взял,
Запели все — мужчины, женщины и дети —
«Интернационал»! «Интернационал»!
И пели словно в первый раз на свете.

1931

* * *

Снег стает, отойдет земля,
Прокатится громок густой.
Дождь теплый хлынет на поля
И смоет клочья пены снеговой.
Запахнет тополем волнующе.
Вздыхаешь, говоришь:
— Весна...—
Но ждешь, но думаешь,
Что пережил не всю еще
Весну, какая быть должна.

1932

* * *

Как море, темнеет озимь,
Весенний ветер шумит.
В копейку лист на березе
Еще дождем не умыт.
Лужицы на дороге
Высохли, как на столе.
Сеять самые сроки,
Давать работу земле...

1932

РАЗЛИВ ДНЕПРА

Широко разлился Днепр.
Ни конца, ни края нет.
Затопил берега,
Заливные луга.
Затопил приднепровье,
Низкорослые кусты.
И пошли, пошли с верховья
На Смоленск — плоты.

1933

ЛЕС ОСЕНЬЮ

Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-желтая листва.

Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Легкий делает прыжок.

Стала ель в лесу заметней —
Бережет густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шляпу набекрень.

1933

ГОСТЬ

Верст за пятнадцать, по погоде жаркой,
Приехал гость, не пожалев о дне.
Гость со своей кошелкой и дегтяркой,
На собственных телеге и коне.

Не к часу гость. Бригада на покосе.
Двух дней таких не выпадет в году.
Но — гость! Хозяин поллитровку вносит,
Яичница — во всю сковороду.

Хозяин — о покосе, о прополке,
А гость пыхтел, никак решить не мог:
Вносить иль нет оставшийся в кошелке
Свой аржаной с начинкою пирог...

Отяжелев, сидел за самоваром,
За чашкой чашку пил, вздыхая, гость.
Ел мед с тарелки — теплый, свежий, с паром,
Учтиво воск выплевывая в горсть.

Ждал, вытирая руки об колени,
Что вот хозяин смякнет, а потом
Заговорит о жизни откровенней,
О ценах, о налогах, обо всем.

Но тот хвалился лошадями, хлебом,
Потом повел, показывая льны,
Да все мельком поглядывал на небо,
Темнеющее с южной стороны.

По огородам, по садам соседним
Вел за собою гостя по жаре.
Он поднимал телят в загоне летнем,
Коров, коней тревожил на дворе.

А скот был сытый, плавный, чистокровный;
Как горница, был светел новый двор.
И черные — с построек старых — бревна
Меж новых хорошо легли в забор.

И, осмотрев фундамент и отметив,
Что дерево в сухом — оно, что кость,
Впервые, может, обо всем об этом
На много лет вперед подумал гость.

Вплотную рожь к задворкам подступала
С молочным, только налитым, зерном...
А туча тихо землю затеняла,
И вдруг короткий прокатился гром,

Хозяин оглянулся виновато
И подмигнул бедово: — Что, как дождь?..—
И гостя с места на покос сосватал:
— Для развлеченья малость подгребешь...

Мелькали спины, темные от пота,
Метали люди сено на воза,
Гребли, несли, спорилася работа.
В полях темнело. Близилась гроза.

Гость подгребал дорожку вслед за возом,
Сам на воз ношу подавал свою,
И на вопрос: какого он колхоза?
Покорно отвечал: — Не состою...

Дождь находил, шумел высоко где-то,
Еще не долетая до земли.
И люди, весело ругая лето,
С последним возом на усадьбу шли.

Хозяин рад был, что свою отлучку
Он вместе с гостем в поле наверстал.
И шли они, как пьяные, под ручку.
И пыльный дождь их у крыльца застал...

Гость от дождя убрал кошелку в хату
И, сев на лавку, стих и погрустнел:
Знать, люди, вправду, будут жить богато,
Как жить он, может, больше всех хотел.

1933

БУБАШКА

В ночь, как всегда, на месте он, Бубашка.
Подворье обойдет, пробьет часы.
Ружьишко дулом вниз — и нараспашку
Армяк, отяжелевший от росы.

Чуть тянет холодком ночным от речки,
Простывшей баней и сырым песком.
Всю ночь Бубашка простоит, как свечка,
Пока туман не встанет потолком...

И он гордится должностью привычной.
Он тридцать лет хозяину служил,
Ел за одним столом, и эту кличку —
Бубашка — от него же получил.

Он прожил жизнь, не разъезжал по свету,
Не знал он, где кончался Брянский лес...
И странно старику, что к жизни этой
Большой у всех открылся интерес.

Рассказывай, как жил ты, как трудился,
Как двор хозяйский по ночам стерег,
Как лошадьми хозяйскими гордился,
Как прожил жизнь, да так и не женился,—
Не захотел жениться без сапог.

И, закурив, чтоб дрема не напала,
Он вспомнит детство, побирушку-мать...
И многое, что без него, пожалуй,
Уж некому теперь и вспоминать...

В годах старик, но отдыха не просит, —
Пошли теперь такие старики.
И носит важно, с уваженьем носит
Общественный армяк и сапоги.

И видит — жизнь тянувший, как упряжку,
Под кличкой лошадиною батрак,
Что только сам себя зовет Бубашкой,
А все его уже зовут не так...

1933

* * *

Рожь отволновалась.
Дым прошел.
Налило зерно до половины.
Колос мягок, но уже тяжел,
И уже в нем запах есть овинный...

1933

* * *

Он до света вставал,
как хозяин двора,
Вся деревня слыхала
первый скрип на колодце.
Двадцать лет
он им воду носил и дрова,
Спал и ел
как придется.
И ни пасхи,
ни духова дня ему не было —
Что работнику трудно —
своему ничего.
А чтоб части невестка
потом не потребовала,
До последнего дня
не женили его.
Он возился с конями,
хомутами, чересседельниками,
Ездил с возом на мельницу,
в лес с топором.
И гордился, гордился
богачами брательниками,
Конями, сбруей,
богатым двором.
Так бы доля его,
неизбывная, темная,
И тянулась весь век;
но бывают дела:
Приманила его
одна разведенная,
И женила его на себе,
и в колхоз привела.

1933

БРАТЬЯ

Лет семнадцать тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад.
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.

Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.

— Ну, сыны?
Что, сыны?
Как сыны? —
И сидели мы, выпятив груди,—
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.

Но в сарае своем по ночам
Мы вдвоем засыпали несмело.
Одинокий кузнечик сверчал,
И горячее сено шумело...

Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших, носили.
Ели желуди с наших дубов —
В детстве вкусные желуди были!..

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?„

1933

ХОЗЯИН

Поплевав, он затягивал крепко супонь,
Выбирал из-под войлока смятую гриву,
Перевязывал повод повыше — и конь
С запрокинутой мордой стоял терпеливо.

А хозяин под сено засовывал кнут,
Не спеша самокрутку вертел на дорогу
И усаживал бабу и, сеном ее подоткнув,
Сам садился — и свешивал правую ногу.
И, вожжой без нужды поправляя шлею,
Выезжал за околицу —
Кум королю.

С полдороги — первые встречи:
Добрые люди с базара назад.
Бабы спустили платки на плечи,
На всю округу песни кричат.

Хозяин едет, спешить не спешит,
Хватит времени праздник справить.
А к дому — плашмя он в телеге лежит,
Баба, на корточки вставши, правит.

Конь один знает, что кнут в передке.
Едет хозяин,
Спит хозяин,
Пьян хозяин,
И нос в табаке...

А в избе, что сгнила у него без сеней,—
Только голые стены да куча детей.
А коровку — единственный хвост на дворе —
На холстах, на веревках таскал в январе.

Двор стоял, точно шапка у пьяницы, криво,
Мыши с голоду дохли, попадая в сусек.
И скрипел журавель на колодце тоскливо,
Чтобы помнил о жизни своей человек...

1934

* * *

Выезжали на ночь в холодок,
Чтобы к утру на базаре быть.
Помнишь, клали косу в передок,—
Травки по дороге укосить.

Помнишь ты, всю жизнь боялась, мать,
Что в ворах могли тебя поймать,
Бить, не уважая,— кто по чем,
Пятки поправляя кирпичом.

Тяжело под ношею сопя,
Мокрый клевер на телегу нес.
Это делал ты не для себя,—
Для меня, чтоб лучше мне жилось.

Ты уснул. Мне холодно от звезд,
Я боюсь, что еду не туда.
Незнакомо стукнул гулкий мост,
Выблеснула под мостом вода.

Мне восьмой, не то девятый год,
Мне бы вдруг не упустить вожжу.
Батя спит, а шапка упадет,
Что я буду делать, что скажу?

Я не спал, я правил и смотрел.
Кнут был цел, все время цел.
— Батя, он был цел, лежал вот тут...
— Отправляйся и найди мне кнут.
— Батя, не найду я. Темнота.
— Не моги вернуться без кнута.

— Батя, забоюсь я...
— Посвищи.
— Батя, не найдешь его...
— Ищи!
— Батя, я пойду, я поищу...
— Не найдешь, так шкуру всю спущу...

1934

ПОЛЕТ

Для такого случая
Вышла наряженная,
Обновила лучшее
Платье береженое.

Не нужда без выхода,
А почет да честь
Привели на старости
В этот кузов сесть.

— Вот тебе и кузов,
Кузов-кузовок.
Стул-то больпо узок,
Край-то невысок...

Привязала туже
К стулу ремешок.
— Только ты высоко
Не летай, сынок.

Тот перчаткой машет,
Лезет сам в машину.
— Хорошо, мамаша,
Сбавлю три аршина.

Над трубой, над самой
Печкой полечу,
Целой, невредимой
Наземь ворочу.

И — одна минута,—
Все дрожит кругом...
— Помахай, Анюта,
Беленьким платком.

Покачнулся, в сторону
Прянул белый свет.
— Анне Миканоровне
Пламенный привет!

Анна Миканоровна —
Хороши дела —
На небе ни разу
В жизни пе была.

Смотрит сверху — видно
Все, что есть на свете:
Стадо, избы, люди —
Взрослые и дети.

Побежали валом
В поле, на дорогу,
Машут чем попало,
А сказать не могут.

Повернули лугом,
Побросав ребят.
Не пускает речка —
Вороти назад.

Поле яровое
Плавает внизу.
Воз снопов и маленький
Мальчик на возу.

Лядо, пни, орешники —
Близко от села,
Где девчонкой бегала,
Где коров пасла.

Где росла, где выросла,
Чтобы жизнь прожить.
Кладбище, где матушка
Под сосной лежит.

— Матушка родимая,
Как мне рассказать!..
Ничего не видишь ты,
И не знаешь, мать...

Крыши... И машина
Вниз рванулась вдруг.
Точно на качелях,
Захватило дух.

Хоп!
Свистя, проносится
Под крылом трава.
Хоп!
—Слезай, приехала,
Ежели жива...

1934

ТОВАРИЩУ

Как день один — большой и оживленный,
Как этот вид разбуженной земли,
Где дым и пыль, и мост гремит бетонный,
И тихо стадо движется вдали.

Как жизнь одна, встают века и годы,
Что прожил на планете человек.
Шумят деревья, и синеют воды
Еще названий не имевших рек...

Я вижу кропотливое движенье,
Неразличимый по столетьям труд
Людей, воздвигнувших сооруженья,
Что тени и теперь еще кладут.

Взгляни на зданья городов огромных:
На стенах счет векам, а не годам.
И человек, что первый камень помнил,
Их первого угла не увидал...

А мы стоим — твой город под горою,
До наших ног его доходит дрожь.
Ты сам себе его подростком строил
И в нем зеленым юношей живешь.

Ты ходишь в нем хозяйскою походкой,
Приветствуешь знакомых и друзей.
Какою жизнь людей была короткой
Во все века в сравнении с твоей!

1934

СТРОИТЕЛЬ

Он сидит, раскинув ноги вилкой,
Закусив задумчиво губу.
На висках легли, как тени, жилки,
Выступили капельки на лбу.
Перед ним — его сооруженье:
Только плоскость укрепить одну —
И готово! И от напряженья
Он глотает сдавленно слюну.
С помощью ребяческих орудий
Он в игре любимой создает
То, над чем века трудились люди,
Славу человека — самолет.

1934

УСАДЬБА

Над белым лесом — край зари багровой.
Восходит дым все гуще и синей.
И сразу оглушает скрип здоровый
Дверей, шагов, колодцев и саней.

На водопой проходят кони цугом.
Морозный пар клубится над водой,
И воробьи, взлетая полукругом,
Отряхивают иней с проводов.

И словно на строительной площадке —
На доски, на леса — легла зима.
И в не заполненном еще порядке
Стоят большие новые дома.

Они выглядывают незнакомо
На улице огромного села,
Где только дом попа и назывался домом,
А церковь главным зданием была;

Где шли к воде поодиночке клячи
И постояв, отказывались пить;
Где журавель и тот скрипел иначе,
Совсем не так, как он теперь скрипит...

Надолго лег венцами лес сосновый.
И лес хорош,
И каждый дом хорош.
...Стоишь, приехав, на усадьбе новой
И, как Москву,
Ее не узнаешь.

1934

* * *

Я иду и радуюсь. Легко мне.
Дождь прошел. Блестит зеленый луг
Я тебя не знаю и не помню,
Мой товарищ, мой безвестный друг.

Где ты пал, в каком бою — не знаю,
Но погиб за славные дела,
Чтоб страна, земля твоя родная,
Краше и счастливее была.

Над полями дым стоит весенний,
Я иду, живущий, полный сил.
Веточку двурогую сирени
Подержал и где-то обронил...

Друг мой и товарищ, ты не сетуй,
Что лежишь, а мог бы жить и петь,
Разве я, наследник жизни этой,
Захочу иначе умереть!..

1934

МУЖИЧОК ГОРБАТЫЙ

Эту песню Филиппок
Распевал когда-то:
Жил на свете мужичок,
Маленький, горбатый.

И согласно песне той,
Мужичок горбатый
Жил беспечно, как святой —
Ни коня, ни хаты.

В батраки к попу ходил
В рваных лапоточках,
Попадью с ума сводил
И попову дочку.

Он не сеял и не жал,
Каждый день обедал.
Поп грехи ему прощал,
Ничего не ведал.

Пел на свадьбах Филиппок
По дворам богатым:
Жил на свете мужичок,
Маленький, горбатый.

И в колхозе Филиппок
Заводил, бывало:
Жил, мол, раньше мужичок,
Этакой удалый.

По привычке жил, как гость,
Филиппок в артели.
Только мы сказали: — Брось,
Брось ты, в самом деле!

Ходишь, парень, бос и гол,
Разве то годится?..
Чем, подумаешь, нашел —
Бедностью гордиться.

Ты не то играешь, брат,—
Время не такое.
Ты гордись-ка, что богат,
И ходи героем.

Нынче трудно жить с кусков,
Пропадать по свету:
Ни попов, ни кулаков
Для тебя тут нету.

Видит парень — нечем крыть,
Просится в бригаду.
И пошел со дня косить
С мужиками рядом.

Видит парень — надо жить.
Пробуй, сделай милость.
И откуда только прыть
У него явилась!

Видит — надо. Рад не рад —
Налегает, косит.
Знает, все кругом глядят:
Бросит иль не бросит?..

Не бросает Филиппок,
Не сдает — куда там!
Дескать, вот вам мужичок,
Маленький, горбатый...

Впереди Филипп идет,
Весь блестит от пота.
Полюбил его народ
За его работу.

И пошел Филипп с тех пор
По дороге новой.
Позабыл поповский двор
И харчи поповы.

По годам еще не стар,
   По делам — моложе,
Даже ростом выше стал
   И осанкой строже.

И, смеясь, толкует он
   Молодым ребятам,
Что от веку был силен
   Мужичок горбатый.

Но, однако, неспроста
   Пропадал безгласно:
Вековая сила та
   В сук росла напрасно.

1934

НОВОЕ ОЗЕРО

Сползли подтеки красноватой глины
По белым сваям, вбитым навсегда.
И вот остановилась у плотины
Пугливая весенняя вода.

И вот уже гоняет волны ветер
На только что затопленном лугу.
И хутор со скворешней не заметил,
Как очутился вдруг на берегу.

Кругом поля ровней и ближе стали.
В верховье где-то мостик всплыл худой,
И лодка пробирается кустами,
Дымя ольховой пылью над водой.

А у сторожки, на бугре высоком,
Подрублена береза, и давно
Долбленное корытце светлым соком —
Березовиком — до краев полно...

Сидит старик с ведерком у обрыва,
Как будто тридцать лет он здесь живет.
— Что делаешь? — Взглянул неторопливо:
— Пускаю, малец, рыбу на развод...

Про паводок, про добрую погоду,
Про все дела ведет охотно речь.
И вкусно курит, сплевывая в воду,
Которую приставлен он стеречь.

И попросту собой доволен сторож,
И все ему доступны чудеса:
Понадобится — сделает озера,
Понадобится — выстроит здесь город
Иль вырастит зеленые леса.

1934

* * *

Тревожно-грустное ржанье коня,
Неясная близость спящего дома...
Здесь и собаки не помнят меня
И петухи поют незнакомо.

Но пахнет, как в детстве,— вишневой корой,
Хлевами, задворками и погребами,
Болотцем, лягушечьей икрой,
Пеньковой кострой
И простывшей баней...

1934

* * *

Счастливая, одна из всех сестер,
Повыданных куда и как попало,
Она вошла хозяйкой в этот двор,
Где на пороге раньше не бывала;
Где выходил лениво из ворот
Скот хоботастый, сытый, чистокровный;
Где журавель колодезный — и тот
Звучал с торжественностью церковной...
И в том немилом, нежилом раю
Шли годы за годами неприметно.
И оглянулась на судьбу свою —
Немолодой, чужою всем, бездетной...
Чего хотеть и ждать, болеть о ком?
Кому нужна любовь, забота, жалость?
И повязала голову платком
И — в чем была — на волю убежала...

1934

УТРО

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый —
От снега в комнате светло.

Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день — полней и лучше,
Да будет лучше новый год.

И дней, что отмечают люди,
Часов таких, как этот час,—
При нас с тобою много будет
И много-много — после нас...

1935

СМОЛЕНЩИНА

Жизнью ни голодною, ни сытой,
Как другие многие края,
Чем еще была ты знаменита,
Старая Смоленщина моя?

Бросовыми землями пустыми,
Непроезжей каторгой дорог,
Хуторской столыпинской пустыней,
Межами и вдоль и поперек...

Помню, в детстве, некий дядя Тихон,—
Хмурый, враспояску, босиком,—
Говорил с безжалостностью тихой:
— Запустить бы все... под лес... кругом...

Да, земля была, как говорят,
Что посеешь,— не вернешь назад...

И лежали мхи непроходимые,
Золотые залежи тая,
Черт тебя возьми, моя родимая,
Старая Смоленщина моя!..

Край мой деревянный, шитый лыком,
Ты дивишься на свои дела.
Слава революции великой
Стороной тебя не обошла.

Деревушки бывшие и села,
Хуторские бывшие края
Славны жизнью сытой и веселой,—
Новая Смоленщина моя.

Хлеб прекрасный на земле родится,
На поля твои издалека —
С юга к северу идет пшеница,
Приучает к булке мужика.

Расстоянья сделались короче,
Стали ближе дальние места.
Грузовик из Рибшева грохочет
По настилу нового моста.

Еду незабытыми местами,
Новые поселки вижу я.
Знаешь ли сама, какой ты стала,
Родина смоленская моя?

Глубоко вдыхаю запах дыма я.
Сколько лет прошло? Немного лет...

Здравствуй, сторона моя родимая!..
Дядя Тихон, жив ты или нет?!

1935

РАССКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА

— Был я мужик тверезый,
Знал, что за мной — семья:
Люди пошли в колхозы,
Что ж, за людьми и я.
Корову свою, кобылу
Свел с другими вслед.
Все уж по форме было,—
Бац! Председателя нет.
Я заявляю совету:
«Жил, мол, с людьми в ладу.
Значит, на должность эту —
Режьте — я не пойду».
Мне заявляют: — Как так?
Справишься, мол, вполне.
— Нет,— говорю,— характер
Не позволяет мне.
Тут меня малый и старый
Знают с ребяческих лет.
Слушать меня не станут,
Строгости в голосе нет... —
Сколько ни тратил слов я:
«Брось! Заступай со дня!..»
— Нет,— говорю,— здоровье
Слабое у меня. —
Дальше да больше, вижу —
Отбиться нет моих сил.
До старости лет грыжу
Скрывал. А тут объявил...
— У всех,— отвечают,— слабо
Здоровье. А грыжа не в счет.
— Нет,— говорю,— баба,
Супруга против идет...
— Ну, вот,— говорят,— отлично,
Иди, принимай колхоз!
С бабой своей ты лично
Обсудишь этот вопрос...—
Что ж, возражать не смею,

Но бабе как объявить?..
— Вам бы желал я с нею
Лично поговорить...

Принял колхоз. Ты слушай,
Слушай, в виду имей.
Вскоре случился случай
Первый в жизни моей.
Давай заводить порядок,
Того-сего ворошить.
Жить по-живому надо,
Раз уж в колхозе жить.
Под ярь вспахали, посеяли,
Перевернули пар.
Рожь смолотили, свеяли —
И под замок, в амбар.
Слушай... И все довольны,
Дело на лад идет.
Бац! Наш праздник престольный.
Справляли не первый год.
Делал что-то на риге я,
А мне говорят меж тем:
— Против ты старой религии?..
— Нет, — говорю, — зачем?.. —
Ладно. И кто-то пулей
Водки на всех привез.
И загудел, как улей,
Праздник на весь колхоз...
Так, с моего разрешенья,
Празднуют. Пить да пить.
Приходит им в рассужденье
По-свойски рожь разделить.
— Овес,— говорят,— колхозный,
А рожь, куда ни кидай,
Она еще сеяна розно.
Ее, — говорят, — подай.
Подай, — говорят, — сейчас
Каждому свою часть...
— За все,— говорю им,— части,
На то я считаюсь пред,—
Перед Советской властью
Личный держу ответ.
— Ага,— заявляют,— ответ!

А ты нам сосед аль нет?.. —
А я объясняю: — Сосед
Свыше полсотни лет...
— Нет, ты — противник наш,
Если ты рожь не дашь.
— Не дам,— говорю,— нипочем.
— Не дашь? — говорят.— Возьмем!..—
Возьмем да возьмем. И тут
К амбару они идут.
Тогда я стал на пороге,
И слышу я голос свой:
— Рубите мне руки, ноги
И голову с плеч долой.—
Стою, как прирос к порогу,
Как им со мною быть:
Тащить? Оттащить не могут,
Бить? Опасаются бить.
Держусь за замок, и — точка.
Бились со мною полдня.
Бац! Пожарную бочку
Тащат против меня...
Как хватит струя
Дугой —
И шапка моя
Долой!..
Крест-накрест водят струю,
Мотают. А я стою.
В лицо как раз достают,
Дохнуть не могу — стою,
Ту самую воду пью,
А, знаешь, стою.
Стою...
Подходят с кишкой все ближе:
Слабеет, значит, струя.
Бац! Погляжу и вижу —
Несется баба моя.
— Слазь,— кричит мне,— сейчас,
В первый-последний раз!..—
Ее не послушать сразу —
На год нажить беду.
А тут я стою, зуб на зуб,
Мокрый, не попаду.
Но тут-то, сказать как другу,

Знать, стал я смел от воды.
— Иди-ка,— говорю,— супруга,
Катись-ка ты под туды... —
Дал поворот от ворот...
И тут, брат, ахнул народ...
Уж если такой я смелый,
Что бабу свою послал,
Значит — святое дело,
Каждый так понимал...
И вот, брат, какие дела:
Совесть тут их взяла.
Вода уж мимо льет,
А я молочу зубами...
Вдруг первый несет белье —
Перемениться из бани.
Другие несут обутку,
Дают своею рукой.
Просят: — Прими ты в шутку
Случай такой...—
Несут на плечи тулупчик —
Душу отогревай.
— Выпей теперь, голубчик,
Пей, а нам не давай! —
И я наливаю, пью —
Окоченел, нельзя же...
Пью, а им не даю,
Не предлагаю даже.
Я прохворал. Зато
После этого раза
Го́лоса... го́лоса что —
Слушаться стали гла̀за.
И с бабой моей с тех пор
Тише стал разговор...

И каждый гвоздик в стене,
И весь, что видишь, зажиток,—
Все это стало при мне,
Значит, не лыком шитый.
Одну я семью питал,
И жил я, мужик тверезый,
Двором гордиться мечтал,
А вот, брат, горжусь колхозом.

1935

* * *

С одной красой пришла ты в мужний дом,
О горестном девичестве не плача.
Пришла девчонкой — и всю жизнь потом
Была горда своей большой удачей.

Он у отца единственный был сын —
Делиться не с кем. Не идти в солдаты.
Двор. Лавка. Мельница. Хозяин был один.
Живи, молчи и знай про свой достаток.

Ты хлопотала по двору чуть свет.
В грязи, в забвенье подрастали дети.
И не гадала ты, была ли, нет
Иная радость и любовь на свете.

И научилась думать обо всем —
О счастье, гордости, плохом, хорошем —
Лишь так, как тот, чей был и двор и дом,
Кто век тебя кормил, бил и берег, как лошадь...

И в жизни темной, муторной своей
Одно себе ты повторяла часто,
Что это все для них, мол, для детей,
Для них готовишь ты покой и счастье.

А у детей своя была судьба,
Они трудом твоим не дорожили,
Они росли — и на свои хлеба
От батьки с маткой убежать спешили,

И с ним одним, угрюмым стариком,
Куда везут вас, ты спокойно едешь,
Молчащим и бессмысленным врагом
Подписывавших приговор соседей.

1935

ВСТРЕЧА

Не тебя ль в твой славный день,
На запруженном вокзале,
Столько сел и деревень
С громкой музыкой встречали?..

Смотришь — все перед тобой,
Всем родна и всем знакома.
Смотришь — где ж он, старый твой, —
Знать, один остался дома?..

Век так жили. Бить — не бил.
Соблюдал в семье согласье,
Но за двадцать лет забыл,
Что зовут тебя Настасьей.

Жили, будто старики:
Не смеялись и не пели,
Приласкаться по-людски,
Слова молвить не умели...

Столько лиц и столько рук!
Одного его не видно.
И до боли стало вдруг
Горько, стыдно и обидно.

Ради радостного дня
Не пришел, не встретил даже.
Ты б уважил не меня,
Орден Ленинский уважил...

— Здравствуй! — все кричат вокруг
И совсем затормошили.
Чемодан берут из рук,
Под руки ведут к машине.

— Здравствуй...— Слышит — не поймет.—
Голос жалостный и слабый:
— Да наступит ли черед
Поздороваться мне с бабой?..

Оглянулась — вот он сам.
Говорить ли ей иль слушать?
— Здравствуй...— Слезы по усам,—
Здравствуй, — говорит, — Настюша...

Плачет,— разве ж он не рад?
Оробев, подходит ближе,
Чем-то словно виноват,
Чем-то будто бы обижен.

Вот он рядом, старый твой,
Оглянулся, губы вытер...
— Ну, целуйся, муж, с женой!
Люди добрые, смотрите...

1936

ПОДРУГИ

Выходили в поле жать,
Любовалась дочкой мать.

Руки ловкие у дочки.
Серп играет, горсть полна.
В красном девичьем платочке
Рядом с матерью она.

Мать нестарая гордится:
— Хорошо, девчонка, жнешь,
От мамаши-мастерицы
Ни на шаг не отстаешь.

Выходила дочь плясать,
Любовалась дочкой мать.

Ноги легкие проворны,
Щеки смуглые горят.
Пляшет плавно и задорно,—
Вся в мамашу, говорят.

Год за годом вместе жили,
На работу — в день и в ночь.
Песни пели и дружили,
Как подруги, мать и дочь.

Только мать всегда желала,
Чтобы дочка первой шла —
Лучше пела, лучше жала,
Лучше матери жила.

Дочке в город уезжать.
Снаряжает дочку мать.

Полотенце, да подушка,
Да корзиночка белья.
— До свиданья, дочь-подружка,
Радость светлая моя.

Целовала торопливо,
Провожала в добрый путь:
— Будь ученой и счастливой,
Кем ты хочешь —
Тем и будь.

1936

КАТЕРИНА

Тихо, тихо пошла грузовая машина,
И в цветах колыхнулся твой гроб, Катерина.

Он проплыл, потревоженный легкою дрожью,
Над дорогой, что к мосту ведет из села,
Над зеленой землей, над светлеющей рожью,
Над рекой, где ты явор девчонкой рвала.

Над полями, где девушкой песни ты пела,
Где ты ноги свои обмывала росой,
Где замужнюю бил тебя муж, от нужды
одурелый,
Где ты плакала в голос, оставшись вдовой...

Здесь ты борозды все босиком исходила,
Здесь бригаду впервые свою повела,
Здесь легла твоя женская бодрость и сила —
Не зазря — за большие, родная, дела.

Нет, никем не рассказано это доныне,
Как стояла твоя на запоре изба,
Как ты, мать, забывала о маленьком сыне,
Как ты первой была на полях и в овине,
Как ты ночью глухой сторожила хлеба...

Находила ты слово про всякую душу —
И упреком, и лаской могла ты зажечь.
Только плохо свою берегли мы Катюшу —
Спохватились, как поздно уж было беречь...

И когда мы к могиле тебя подносили
И под чьей-то ногою земля, зашумев, сорвалась,
Вдруг две бабы в толпе по-старинному заголосили:
— А куда ж ты, Катя, уходишь от нас...

Полно, бабы. Не надо.
Не пугайте детей.
По-хорошему, крепко
Попрощаемся с ней.

Мы ее не забудем. И вырастим сына.
И в работе своей не опустим мы рук.
Отдыхай, Катерина.
Прощай, Катерина,
Дорогой наш товарищ и друг.

Пусть шумят эти липы
Молодой листвой,
Пусть веселые птицы
Поют над тобой.

1936

* * *

Кружились белые березки,
Платки, гармонь и огоньки.
И пели девочки-подростки
На берегу своей реки.

И только я здесь был не дома,
Я песню узнавал едва.
Звучали как-то по-иному
Совсем знакомые слова.

Гармонь играла с перебором,
Ходил по кругу хоровод,
А по реке в огнях, как город,
Бежал красавец пароход.

Веселый и разнообразный,
По всей реке, по всей стране
Один большой справлялся праздник,
И петь о нем хотелось мпе.

Петь, что от края и до края,
Во все концы, во все края,
Ты вся моя и вся родная,
Большая родина моя.

1936

НЕВЕСТЕ

Мы с тобой играли вместе,
Пыль топтали у завалин.
И тебя моей невестой
Все, бывало, называли.

Мы росли с тобой, а кто-то
Рос совсем в другом краю
И в полгода заработал
Сразу всю любовь твою.

Он летает, он далече,
Я сижу с тобою здесь.
И о нем, о скорой встрече
Говоришь ты вечер весь.

И, твои лаская руки,
Вижу я со стороны
Столько нежности подруги,
Столько гордости жены.

Вся ты им живешь и дышишь,
Вся верна, чиста, как мать.
Ничего тут не попишешь,
Да и нечего писать.

Я за встречу благодарен.
У меня обиды нет.
Видно, он хороший парень,
Передай ему привет.

Пусть он смелый,
Пусть известный,
Пусть еще побьет рекорд,
Но и пусть мою невесту
Хорошенько любит,
Черт!..

1936

СЫН

Снарядившись в путь далекий,
Пролетал он мимо.
Покружился невысоко
Над селом родимым.

Над селом, над речкой старой
Опустился низко.
Сбросил матери подарок,
Землякам записку.

Развернулся, канул в небо
За лесной опушкой.
— До свиданья! — Был иль не был,—
Смотрит мать-старушка.

Смотрит — сын куда поднялся!
Славно ей и горько.
Не спросился, не сказался,
Попрощался только.

Он летит за доброй славой,
Путь ему просторный.
И леса под ним, как травы,
Стелются покорно.

За морями, за горами
Стихнул гул громовый.
И бежит к избе, играя,
Внук белоголовый.

Дворик. Сад. Налево — ели,
Огород направо.
Над крыльцом трещит пропеллер —
Детская забава.

1936

РАЗМОЛВКА

На кругу, в старинном парке —
Каблуков веселый бой.
И гудит, как улей жаркий,
Ранний полдень над землей.

Ранний полдень, летний праздник,
В синем небе — самолет.
Девки, ленты подбирая,
Переходят речку вброд...

Я скитаюсь сиротливо.
Я один. Куда идти?..
Без охоты кружку пива
Выпиваю по пути.

Все знакомые навстречу.
Не видать тебя одной.
Что ж ты думаешь такое?
Что ж ты делаешь со мной?..

Праздник в сборе. В самом деле,
Полон парк людьми, как дом.
Все дороги опустели
На пятнадцать верст кругом.

В отдаленье пыль клубится,
Слышен смех, пугливый крик.
Детвору везет на праздник
Запоздалый грузовик.

Ты не едешь, не прощаешь,
Чтоб самой жалеть потом.
Книжку скучную читаешь
В школьном садике пустом.

Вижу я твою головку
В беглых тенях от ветвей,
И холстинковое платье,
И загар твой до локтей.

И лежишь ты там, девчонка,
С детской хмуростью в бровях.
И в траве твоя гребенка,—
Та, что я искал впотьмах.

Не хотите, как хотите,
Оставайтесь там в саду.
Убегает в рожь дорога.
Я по ней один пойду.

Я пойду зеленой кромкой
Вдоль дороги. Рожь по грудь.
Ничего. Перехвораю.
Позабуду как-нибудь.

Широко в полях и пусто.
Вот по ржи волна прошла...
Так мне славно, так мне грустно,
И до слез мне жизнь мила.

1936

ПЕСНЯ

Сам не помню и не знаю
Этой старой песни я.
Ну-ка, слушай, мать родная,
Митрофановна моя.

Под иголкой на пластинке
Вырастает песня вдруг,
Как ходили на зажинки
Девки, бабы через луг.

Вот и вздрогнула ты, гостья,
Вижу, песню узнаешь...
Над межой висят колосья,
Тихо в поле ходит рожь.

В знойном поле сиротливо
День ты кланяешься, мать.
Нужно всю по горстке ниву
По былинке перебрать.

Бабья песня. Бабье де́ло.
Тяжелеет серп в руке.
И ребенка плач несмелый
Еле слышен вдалеке.

Ты присела, молодая,
Под горячею копной.
Ты забылась, напевая
Эту песню надо мной.

В поле глухо, сонно, жарко.
Рожь стоит,— не перестой.
...Что ж ты плачешь? Песни ль жалко
Или горькой жизни той?

Или выросшего сына,
Что нельзя к груди прижать?..
На столе поет машина,
И молчит старуха мать.

1936

ПУТНИК

В долинах уснувшие села
Осыпаны липовым цветом.
Иду по дороге веселой,
Шагаю по белому свету.

Шагаю по белому свету,
О жизни пою человечьей,
Встречаемый всюду приветом
На всех языках и наречьях.

На всех языках и наречьях,
В родимой стране, без изъятья,
Понятны любовь и сердечность,
Как доброе рукопожатье.

Везде я и гость и хозяин,
Любые откроются двери,
И где я умру, я не знаю,
Но места искать не намерен.

Под кустиком первым, под камнем
Копайте, друзья, мне могилу.
Где лягу, там будет легка мне
Земля моей родины милой.

1936

* * *

Ты робко его приподымешь:
Живи, начинай, ворошись.
Ты дашь ему лучшее имя
На всю его долгую жизнь.

И, может быть, вот погоди-ка,
Услышишь когда-нибудь, мать,
Как с гордостью будет великой
То имя народ называть.

Но ты не взгрустнешь ли порою,
Увидев, что первенец твой
Любим не одною тобою
И нужен тебе не одной?

И жить ему где-то в столице,
Свой подвиг высокий творить.
Нет, будешь ты знать и гордиться
И будешь тогда говорить:

— А я его, мальчика, мыла,
А я иной раз не спала,
А я его грудью кормила,
И я ему имя дала.

1936

СТАНЦИЯ ПОЧИНОК

За недолгий жизни срок,
Человек бывалый,
По стране своей дорог
Сделал я не мало.

Под ее шатром большим,
Под широким небом
Ни один мне край чужим
И немилым не был.

Но случилося весной
Мне проехать мимо
Маленькой моей, глухой
Станции родимой.

И успел услышать я
В тишине минутной
Ровный посвист соловья
За оградкой смутной.

Он пропел мне свой привет
Ради встречи редкой,
Будто здесь шестнадцать лет
Ждал меня на ветке.

Счастлив я.
Отрадно мне
С мыслью жить любимой,
Что в родной моей стране
Есть мой край родимый.

И еще доволен я, —
Пусть смешна причина, —
Что на свете есть моя
Станция Починок.

И глубоко сознаю,
Радуюсь открыто,
Что ничье в родном краю
Имя не забыто.

И хочу трудиться так,
Жизнью жить такою,
Чтоб далекий мой земляк
Мог гордиться мною.

И встречала бы меня,
Как родного сына,
Отдаленная моя
Станция Починок.

1936

* * *

Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой,
Что не своей заживешь ты судьбой?

Сумку да кнут по наследству носил, —
Только всего, что родился красив.

Двор без ворот да изба без окон, —
Только всего, что удался умен.

Рваный пиджак, кочедыг да копыл, —
Только всего, что ты дорог мне был.

Кто ж тебя знал, невеселый ты мой,
Что не своей заживешь ты судьбой?

Не было писано мне на роду
Замуж пойти из нужды да в нужду.

Голос мой девичий в доме утих.
Вывел меня на крылечко жених.

Пыль завилась, зазвенел бубенец,
Бабы запели — и жизни конец...

Сказано было — иди да живи, —
Только всего, что жила без любви.

Жизнь прожила у чужого стола, —
Только всего, что забыть не могла.

Поздно о том говорить, горевать.
Батьке бы с маткой заранее знать.

Знать бы, что жизнь повернется не так,
Знать бы, чем станет пастух да батрак.

Вот посидим, помолчим над рекой,
Будто мы — парень да девка с тобой.

Камушки моет вода под мостом,
Вслух говорит соловей за кустом.

Белые звезды мигают в реке.
Вальсы играет гармонь вдалеке...

1936

ЛЕДОХОД

Лед идет, большой, громоздкий,
Ночью движется и днем.
Все заметнее полоска
Между берегом и льдом.

Утром ранним, утром дымным
Разглядел я вдалеке,
Как куски дороги зимней
Уплывали по реке.

Поперек реки широкой
Был проложен путь прямой.
Той дорогой, той дорогой
Я ходил к тебе зимой...

Выйду, выйду напоследки,
Ой, как воды высоки,
Лед идет цепочкой редкой
Серединою реки.

Высоки и вольны воды.
Вот пройдет еще два дня —
С первым, с первым пароходом
Ты уедешь от меня.

1936

* * *

Прошло пять лет. Объехав свет,
Со станции знакомой,
Один, как перст, потрепан, сед,
Он приближался к дому.

И нес в котомке как залог
Любви и жизни дружной
Веселый ситцевый платок —
Жене подарок мужний.

То ль где-то он его стащил
В чужой толпе базарной,
То ль на Магнитке получил
По карточке ударной...

И вдруг он видит по пути
В лавчонке захолустной
Платков таких — хоть пруд пруди,
И стало очень грустно.

1936

* * *

Шумит, пробираясь кустами,
Усталое, сытое стадо.
Пастух повстречался нестарый
С насмешливо-ласковым взглядом.

Табак предлагает отменный,
Радушною радует речью.
Спасибо, товарищ почтенный,
За добрую встречу.

Парнишка идет босоногий,
Он вежлив, серьезен и важен.
Приметы вернейшей дороги
С готовностью тотчас укажет.

И следует дальше, влеко́мый
Своею особой задачей.
Спасибо, дружок незнакомый,
Желаю удачи!

Девчонка стоит у колодца,
Она обернется, я знаю,
И через плечо улыбнется,
Гребенку слегка поправляя.

Другая мне девушка снится,
Но я не боюсь порицанья:
Спасибо и вам, озорница,
За ваше вниманье.

1936

* * *

За распахнутым окном,
На просторе луга
Лошадь сытая в ночном
Отряхнулась глухо.

Чуял запах я воды
И остывшей пыли.
Видел — белые сады
В темноте светили.

Слышал, как едва-едва
Прошумела липа,
Как внизу росла трава
Из земли со скрипом.

1936

* * *

Есть обрыв, где я, играя,
Обсыпал себя песком.
Есть лужайка у сарая —
Там я бегал босиком.

Есть речушка — там я плавал,
Как бывало, не дыша.
Там я рвал зеленый явор,
Плетки плел из камыша.

Есть береза вполобхвата,
Та береза на дворе,
Где я вырезал когда-то
Буквы САША на коре...

Но во всей отчизне славной
Нет такого уголка,
Нет такой земли, чтоб равно
Мне была не дорога.

1936

* * *

Что он делал, что он думал
В этот день в избе пустой,
Работящий и угрюмый
Человек, хозяин твой?

Довидна́ возился с печкой,
Снаряжался у дверей,
Подпоясанный уздечкой,
Гнал на речку лошадей?

Может, все ж зашел к соседям,
Хоть промолвил те слова:
«Что-то баба долго едет,
Знать, понравилась Москва?»

Иль сидел в избе одетый,
У окна, как старый дед,
Пыхал трубкой за газетой,
Понимал, а может, нет?

Иль на радостях собрался,
Выпив, с кем-нибудь сидел
И тобою похвалялся:
«Баба — о! Политотдел!»

1936

* * *

Столбы, селенья, перекрестки,
Хлеба, ольховые кусты,
Посадки нынешней березки,
Крутые новые мосты.

Поля бегут широким кругом,
Поют протяжно провода,
А ветер прет в стекло с натугой,
Густой и сильный, как вода.

1936

* * *

Дождь надвигается внезапный,
Ты выбегаешь на дорожку,
Чтоб воротиться с первой каплей,
Зажатой в смуглую ладошку.

В игре, в забавах хлопотливых,
Моя веселая, родная,
Растешь ты шумно и счастливо,
О том не думая, не зная.

Ты по траве гоняешь мячик,
На плечи мне влезаешь ловко.
И пахнет солнышком горячим
Светловолосая головка.

О детстве горьком, захолустном
Я вспоминаю потихоньку
И чуть завистливо, чуть грустно
Смотрю на милую девчонку.

Целую русую без счета,
Запорошенную песочком.
И все хочу тебе я что-то
Сказать, но не умею, дочка.

⟨*1936*⟩

* * *

Здравствуй, сверстница и тезка,
Я — большой, и вы — большая.
Ваша взрослая прическа
Что-то вспомнить мне мешает.

Да, как были вы девчонкой,
Лет пяти, не больше были, —
Вы песочком волосенки
Обсыпать свои любили.

— Правда? Правда. Вот и вспомнил.
А песочек был сухой.
Вот и стало вдруг легко мне
Разговаривать с тобой.

⟨*1936*⟩

* * *

Не стареет твоя красота,
Разгорается только сильней.
Пролетают неслышно над ней,
Словно легкие птицы, лета.

Не стареет твоя красота.
А росла ты на жесткой земле,
У людей, не в родимой семье,
На хлебах, на тычках, сирота.

Не стареет твоя красота,
И глаза не померкли от слез.
И копна темно-русых волос
У тебя тяжела и густа.

Все ты горькие муки прошла,
Все ты вынесла беды свои.
И живешь и поешь, весела
От большой, от хорошей любви.

На своих ты посмотришь ребят,
Радость матери нежной проста:
Все в тебя, все красавцы стоят,
Как один, как орехи с куста.

Честь великая рядом с тобой
В поле девушке стать молодой.
Всюду славят тебя неспроста, —
Не стареет твоя красота.

Ты идешь по земле молодой —
Зеленеет трава за тобой.
По полям, по дорогам идешь —
Расступается, кланяясь, рожь.

Молодая береза в лесу
Поднялась и ровна и бела.
На твою она глядя красу,
Горделиво и вольно росла.

Не стареет твоя красота.
Слышно ль, женщины в поле поют, —
Голос памятный все узнают —
Без него будто песня не та.

Окна все пооткроют дома,
Стихнет листьев шумливая дрожь.
Ты поешь! Потому так поешь,
Что ты песня сама.

1937

В ПОСЕЛКЕ

Косые тени от столбов
Ложатся край дороги.
Повеет запахом хлебов —
И вечер на пороге.

И близок, будто на воде,
В полях негромкий говор.
И радио, не видно где,
Поет в тиши садовой.

А под горой течет река,
Чуть шевеля осокой,
Издалека-издалека
В другой конец далекий.

По окнам вспыхивает свет.
Час мирный. Славный вечер.
Но многих нынче дома нет,
Они живут далече.

Кто вышел в море с кораблем,
Кто реет в небе птицей,
Кто инженер, кто агроном,
Кто воин на границе.

По всем путям своей страны,
Вдоль городов и пашен,
Идут крестьянские сыны,
Идут ребята наши.

А в их родном поселке — тишь
И ровный свет из окон.
И ты одна в саду сидишь,
Задумалась глубоко.

Быть может, не привез письма
Грузовичок почтовый.
А может, ты уже сама
В далекий путь готова.

И смотришь ты на дом, на свет,
На тени у колодца, —
На все, что, может, много лет
Видать во сне придется...

1937

ШОФЕР

Молодой, веселый, важный
За рулем шофер сидит,
И, кого ни встретит, каждый
Обернется, поглядит.

Едет парень, припорошен
Пылью многих деревень.
Путь далекий, день хороший.
По садам цветет сирень.

В русской вышитой рубашке
Проезжает он селом.
У него сирень в кармашке,
А еще и на фуражке,
А еще и за стеклом.

И девчонка у колодца
Скромный делает кивок.
Журавель скрипит и гнется,
Вода льется на песок.

Парень плавно, осторожно
Развернулся у плетня.
— Разрешите, если можно,
Напоить у вас коня.

Та краснеет и смеется,
Наклонилась над ведром:
— Почему ж? Вода найдется,
С вас и денег не возьмем.
Где-то виделись, сдается?.. —
А вода опять же льется,
Рассыпаясь серебром.

Весь — картина,
Молодчина
От рубашки до сапог.
Он, уже садясь в кабину,
Вдруг берет под козырек.

На околице воротца
Открывает сивый дед,
А девчонка у колодца
Остается,
Смотрит вслед:
Обернется или нет?..

1937

ДОРОГА

Вдоль дороги, широкой и гладкой,
Протянувшейся вдаль без конца,
Молодые, весенней посадки,
Шелестят на ветру деревца.

А дорога, сверкая, струится
Меж столбов, прорываясь вперед,
От великой советской столицы
И до самой границы ведет.

Тени косо бегут за столбами,
И столбы пропадают вдали.
Еду вровень с густыми хлебами
Серединой родимой земли.

Ветер, пой, ветер, вой на просторе!
Я дорогою сказочной мчусь.
Всю от моря тебя и до моря
Вижу я, узнаю тебя, Русь!

Русь! Леса твои, степи и воды
На моем развернулись пути.
Города, рудники и заводы
И селенья — рукой обвести.

Замелькал перелесок знакомый,
Где-то здесь, где-то здесь в стороне
Я бы крышу родимого дома
Увидал. Или кажется мне?

Где-то близко у этой дороги, —
Только не было вовсе дорог, —
Я таскался за стадом убогим,
Босоногий, худой паренек.

Детство бедное. Хутор далекий.
Ястреб медленно в небе кружит.
Где-то здесь, на горе невысокой,
Дед Гордей под сосенкой лежит...

Рвется ветер, стекло прогибая,
Чуть столбы поспевают за мной.
Паровоз через мост пробегает
Высоко над моей головой.

По дороге, зеркально блестящей,
Мимо отчего еду крыльца.
Сквозь тоннель пролетаю гудящий,
Освещенный, как зала дворца.

И пройдут еще годы и годы,
Будет так же он ровно гудеть.
Мой потомок на эти же своды
С уважением будет глядеть.

И дорога, что смело и прямо
Пролегла в героический срок,
Так и будет одною из самых
На земле величайших дорог.

Все, что мы возведем, что проложим, —
Все столетиям славу несет...
Дед, совсем ты немного не дожил,
Чтоб века пережить наперед.

1937

ПРОЩАНИЕ

Сын к отцу прилетел попрощаться.
— Здравствуй, сын! Помираю, сынок... —
И хотел было он приподняться,
Но уже приподняться не мог.

Улыбнулся он, песенник, плотник,
Наделенный веселой душой.
И лихой на работе работник,
И до жизни охотник большой.

И сказал он, подумавши: — Ладно, —
Так вот просто сказал, не скорбя, —
Хорошо мне, сынок, и отрадно
В час последний смотреть на тебя.

Высоко, высоко ты поднялся,
Кто бы думал, сказал наперед:
Выше крыши отец не взбирался,
Сын по небу машину ведет.

Ну, живи. Оставайся. Легко мне.
Только знай, что отец-то один.
Ты отца-то нет-нет да и вспомни, —
Был такой на земле гражданин!

И последней слезой заблестели
И закрылись глаза старика.
И в своей еще теплой постели
Он затих и забылся слегка.

Умирал человек и родитель.
Видел сын: наступает конец...
Вдруг: — Возьмите меня, поднимите!.. —
Стал просить, заметался отец,

То ль земли начинал он пугаться,
Как шепнула, заплакавши, мать;
То ль хотел он за сыном подняться,
Высоко, высоко побывать.

Но уже отходил торопливо,
Все терял: и желанья, и страх.
И приподнял его бережливо
Сын-герой на могучих руках.

И не выразить было любовней,
Не сказать, не представить сильней
Этой нежности лучшей — сыновней,
Отличающей добрых людей...

Самолет поднимался над лугом.
Сын покинул родительский дом.
Три прощальных торжественных круга
Сделал он за селом над холмом,

Где покоится песенник, плотник,
Честно проживший век трудовой,
И лихой на работе работник,
И до жизни охотник большой.

1937

МАТЬ И СЫН

На родного сына
Молча смотрит мать.
Что бы ей такое
Сыну пожелать?

Пожелать бы счастья —
Да ведь счастлив он.
Пожелать здоровья —
Молод и силен.

Попросить, чтоб дольше
Погостил в дому, —
Человек военный,
Некогда ему.

Попросить, чтоб только
Мать не забывал, —
Но ведь он ей письма
С полюса писал.

Чтоб не простудиться,
Дать ему совет?
Да и так уж больно
Сын тепло одет.

Указать невесту —
Где уж! Сам найдет.
Что бы ни сказала —
Ясно наперед.

На родного сына
Молча смотрит мать.
Нечего как будто
Пожелать, сказать.

Верит — не напрасно
Сын летать учен.
Как ему беречься, —
Лучше знает он.

Дело, что полегче,
Не ему под стать.
Матери, да чтобы
Этого не знать!

Он летал далеко,
Дальше полетит.
Трудно — перетерпит.
Больно — промолчит.

А с врагом придется
Встретиться в бою —
Не отдаст он даром
Голову свою.

Матери — да чтобы
Этого не знать...
На родного сына
Молча смотрит мать.

1937

СОПЕРНИКИ

Он рядом сидит,
он беседует с нею,
Свисает гармонь
на широком ремне.
А я на гармони
играть не умею.
Завидно, обидно,
невесело мне.

Он с нею танцует —
особенно как-то:
Рука на весу
и глаза в полусне.
А я в этом деле,
действительно, трактор, —
Тут даже и пробовать
нечего мне.

Куда мне девать
свои руки и ноги,
Кому рассказать
про обиду свою?
Пройдусь, постою,
закурю, одинокий,
Да снова пройдусь,
Да опять постою.

Добро бы я был
ни на что не умелый,
Добро бы какой
незадачливый я.
Но слава моя
до Москвы долетела.

И всюду работа
    известна моя.

Пускай на кругу
    ничего я не стою.
А он на кругу —
    никому не ровня.
Но дай-ка мы выедем
    в поле с тобою, —
Ты скоро бы пить
    запросил у меня.

Ты руку ей жмешь.
    Она смотрит куда-то
Она меня ищет
    глазами кругом.
И вот она здесь.
    И глядит виновато,
И ласково так,
    и лукаво притом.

Ты снова играешь
    хорошие вальсы,
Все хвалят, и я тебя
    тоже хвалю.
Смотрю, как работают
    хитрые пальцы,
И даже тебя
    я ценю и люблю.

За то, что кругом
    все хорошие люди,
За то, что и я
    не такой уж простак.
За то, что всерьез
    не тебя она любит,
А любит меня.
    А тебя только так...

1937

* * *

Погляжу, какой ты милый,
Замечательный какой.
Нет, недаром полюбила,
Потеряла я покой.

Только ты не улыбайся,
Не смотри так с высоты,
Милый мой, не зазнавайся:
Не один на свете ты.

Разреши тебе заметить,
Мой мальчишка дорогой,
Был бы ты один на свете —
И вопрос тогда другой.

За глаза и губы эти
Все простилось бы тебе.
Был бы ты один на свете —
Равных не было б тебе.

Ну, а так-то много равных,
Много, милый, есть таких.
Хорошо еще, мой славный,
Что и ты один из них.

Погляжу, какой ты милый,
Замечательный какой.
Нет, недаром полюбила,
Потеряла я покой...

1937

ПРО ДАНИЛУ

Дело в праздник было,
Подгулял Данила.

Праздник — день свободный,
В общем, любо-мило,
Чинно, благородно
Шел домой Данила.

Хоть в нетрезвом виде
Совершал он путь,
Никого обидеть
Не хотел отнюдь.

А наоборот —
Грусть его берет,
Что никто при встрече
Ему не перечит.

Выпил — спросу нет.
На здоровье, дед!

Интересней было б,
Кабы кто сказал:
Вот, мол, пьян Данила,
Вот, мол, загулял.

Он такому делу
Будет очень рад.
Он сейчас же целый
Сделает доклад.

— Верно, верно, — скажет
И вздохнет лукаво, —

А и выпить даже
Не имею права.

Не имею права,
Рассуждая здраво.
Потому-поскольку
За сорок годов
Вырастил я только
Пятерых сынов.

И всего имею
В книжечке своей
Одну тыщу двести
Восемь трудодней.

— Выпил, ну и что же?
Отдыхай на славу.
— Нет, постой, а может,
Не имею права?..

Но никто — ни слова.
Дед работал век.
Выпил, что ж такого? —
Старый человек.

«То-то и постыло», —
Думает Данила.
— Чтоб вам пусто было, —
Говорит Данила.

Дед Данила плотник,
Удалой работник,
Запевает песню:
«В островах охотник...

В островах охотник
Целый день гуляет,
Он свою охоту
Горько проклинает...»

Дед поет, по нету
Песни петь запрету.

И тогда с досады
Вдруг решает дед:
Дай-ка лучше сяду,
В ногах правды нет!

Прикажу-ка сыну:
Подавай машину,
Гони грузовик —
Не пойдет старик.

Не пойдет, и только,
Отвались язык.
Потому-поскольку —
Мировой старик.

— Что ж ты сел, Данила,
Стало худо, что ль?
Не стесняйся, милый,
Проведем, позволь.

Сам пойдет Данила,
Сам имеет ноги.
Никакая сила
Не свернет с дороги.

У двора Данила.
Стоп. Конец пути.
Но не тут-то было
На крыльцо взойти.

И тогда из хаты
Сыновья бегут.
Пьяного отца-то
Под руки ведут.

Спать кладут, похоже,
А ему не спится.
И никак не может
Дед угомониться.

Грудь свою сжимает,
Как гармонь, руками
И перебирает
По стене ногами.

А жена смеется,
За бока берется:

— Ах ты, леший старый,
Ах ты, сивый дед,
Подорвал ты даром
Свой авторитет...

Дело в праздник было,
Подгулял Данила.

1937

КАК ДАНИЛА ПОМИРАЛ

Жил на свете дед Данила
Сто годов да пять.
Видит, сто шестой ударил, —
Время помирать.

Вволю хлеба, вволю сала,
Сыт, обут, одет.
Если б совесть позволяла,
Жил бы двести лет.

Но невесело Даниле,
Жизнь сошла на край:
Не дают работать деду,
Говорят: — Гуляй.

А гулять беспеременно —
Разве это жизнь?
Говорили б откровенно:
Помирать ложись.

Потихоньку дед Данила
Натаскал досок.
Достает пилу, рубанок,
Гвозди, молоток.

Тешет, пилит — любо-мило,
Доски те, что звон!
Все, что делал дед Данила, —
Делал крепко он.

Сколотил он гроб надежный,
Щитный, что ладья.
Отправляется Данила
В дальние края.

И в своем гробу сосновом
Навзничь дед лежит.
В пиджаке, рубахе новой,
Саваном прикрыт.

Что в селе народу было —
Все пришли сполна.
— Вот и помер дед Данила.
— Вот тебе и на...

Рассуждают: — Потрудился
На своем веку. —
И весьма приятно слышать
Это старику.

— Ох и ветох был, однако, —
Кто-то говорит.
«Ох, и брешешь ты, собака», —
Думает старик.

— Сыновей зато оставил —
Хлопцам равных нет.
«Вот что правда, то и правда», —
Чуть не молвил дед.

Постоял народ пристойно
И решает так:
— Выпить надо. Был покойник
Выпить не дурак.

И такое заключенье
Дед услышать рад:
Не в упрек, не в осужденье
Люди говорят.

Говорят: — Прощай, Данила,
Не посетуй, брат,
Дело ждет, по бревнам наши
Топоры торчат.

Говорят: — У нас ребята
Плотники — орлы.
Ты их сам учил когда-то
Вырубать углы.

Как зачешут топорами
Вперебой и в лад,
Басовито, громовито
Бревна загудят.

Эх, Данила, эх, Данила,
Был ты молодым!
С молодым бы в пору было
Потягаться им.

Не обижен был ты силой,
Мы признать должны...
— Ах вы, — крикнул дед Данила, —
Сукины сыны!

Не желаю ваш постылый
Слушать разговор.
На леса! — кричит Данила. —
Где он, мой топор?!

1937

К ПОРТРЕТУ ПУШКИНА

Земля, рождавшая когда-то
Богатырей в глухом селе,
Земля, которая богата
Всем, что бывает на земле;

Земля, хранившая веками
Заветы вольности лихой,
Земля, что столькими сынами
Горда передо всей землей;

Земля, где дружба всех наречий
Так нерушима и тепла,
Где правда жизни человечьей
Впервые на землю пришла;

Земля, где песни так живучи,
Где их слагает и поет
Сам неподкупный, сам могучий,
Сам первый песенник — народ, —

Земля такая не могла ведь,
Восстав из долгой тьмы времен,
Родить и нынче гордо славить
Поэта, меньшего, чем он...

⟨1937⟩

* * *

А ты, что множество людей,
С тобою росших, помнишь,
Ты под ровесницей своей
Грустишь, под липой темной.

Я знаю, старый человек,
Ты волю дал обиде,
Что прожил долгий, трудный век
И ничего не видел.

Ты знал, что все края равны,
Везде нужда и горе,
И не прошел родной страны
От моря и до моря.

Дождался дома сытых дней,
Все так, одно обидно:
Себя считал ты всех умней,
Да просчитался, видно.

1937

МАТЕРИ

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.

1937

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

У дороги дуб зеленый
Зашумел листвой каляной.
Над землею истомленной
Дождь собрался долгожданный.

Из-за моря поспешая,
Грозным движима подпором,
Туча темная, большая
Поднималась точно в гору.

Добрый гром далеко где-то
Прокатился краем неба.
Потянуло полным летом,
Свежим сеном, новым хлебом.

Наползая шире, шире,
Туча землю затеняла.
Капли первые большие
Обронились где попало.

Стало тише и тревожней
На земле похолоделой...
Грузовик рванул порожний
По дороге опустелой.

1937

* * *

Легко бывает вспоминать
Про то, что горько было.
Ему рубашку сшила мать,
А мне моя не сшила.
И вот увидел я во сне,
Что праздник, день погожий.
Рубашка новая на мне,
Как раз, как у Сережи.
Иду, гуляю, как большой,
Цветет рубашка маком,
А все-то смотрят: кто такой?..
Проснулся и заплакал.
Мать говорит: — Послушай,
Послушай-ка, Павлуша,
Рубашку б я пошила,
Да ситцу не купила.
А ситцу б я купила,
Когда б купило было,
А как купила нету,
Так я подправлю эту,
Помою, постираю,
Натру золой ольховой,
Каталкой покатаю,
И будет лучше новой. —
Но я-то знал, что целый свет
Теперь помочь не сможет,
Раз у меня рубашки нет
Такой, как у Сережи.
Один я был с бедой своей,
Весь день ходил угрюмый.
Но вот узнал про все Сергей
И выход враз придумал.
Веселый план пришелся мне,

Хоть трусил я вначале.
А после мы об этом дне
Частенько вспоминали.
Полдня рубашку я носил,
По всей по ярмарке форсил.
Ходил, и все казалось мне,
Что это я опять во сне.
А с полдня сам гулял Сергей
В своей рубашке новой.
И хитрой выдумке своей
Был рад мой друг бедовый.
Прошло с тех пор немало лет,
И мы не дети вроде.
И каждый был из нас одет
По самой чистой моде.
И хоть уже иное нас
Сводило в дружбе крепкой,
Шутя менялись мы подчас
То галстуком, то кепкой.

⟨*1938*⟩

ИВУШКА

Умер Ивушка-печник,
Крепкий был еще старик...

Вечно трубочкой дымил он,
Говорун и весельчак.
Пить и есть не так любил он,
Как любил курить табак.

И махоркою добротной
Угощал меня охотно.

— На-ко, — просит, — удружи,
Закури, не откажи.
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.

И при каждом угощенье
Мог любому подарить
Столько ласки и почтенья,
Что нельзя не закурить.

Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур.

Правда ль, нет — слова такие
Перед смертью говорил:
Мол, прощайте, дорогие,
Дескать, хватит, покурил...

Будто тем одним и славен,
Будто, прожив столько лет,
По себе печник оставил
Только трубку да кисет.

Нет, недаром прожил Ива,
И не все курил табак,
Только скромно, не хвастливо
Жил печник и помер так.

Золотые были руки,
Мастер честью дорожил.
Сколько есть печей в округе —
Это Ивушка сложил.

И с ухваткою привычной,
Затопив на пробу печь,
Он к хозяевам обычно
Обращал такую речь:

— Ну, топите, хлеб пеките,
Дружно, весело живите.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

На полях трудитесь честно,
За столом садитесь тесно.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

Жизнью полной, доброй славой
Славьтесь вы на всю державу.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

И на каждой печке новой,
Ровно выложив чело,
Выводил старик бедовый
Год, и месяц, и число.

И никто не ждал, не думал...
Взял старик да вдруг и умер,
Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур.

Умер скромно, торопливо,
Так и кажется теперь,
Что, как был, остался Ива,
Только вышел он за дверь.

Люди Иву поминают,
Люди часто повторяют:
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.

А морозными утрами
Над веселыми дворами
Дым за дымом тянет ввысь.
Снег блестит все злей и ярче,
Печки топятся пожарче,
И идет, как надо, жизнь.

1938

НА СВАДЬБЕ

Три года парень к ней ходил,
Три года был влюблен,
Из-за нее гармонь купил,
Стал гармонистом он.

Он гармонистом славным был,
И то всего чудней,
Что он три года к ней ходил,
Женился ж я на ней.

Как долг велит, с округи всей
К торжественному дню
Созвал я всех своих друзей
И всю свою родню.

Все пьют за нас, за молодых,
Гулянью нет конца.
Две легковых, три грузовых
Машины у крыльца.

Но вот прервался шум и звон,
Мелькнула тень в окне,
Открылась дверь — и входит он.
С гармонью на ремне.

Гармонь поставил у окна,
За стол с гостями сел,
И налил я ему вина
И разом налил всем.

И, подняв чарку, он сказал,
Совсем смутив иных:
— Я поднимаю свой бокал
За наших молодых...

И снова все пошло смелей,
Но я за ним смотрю.
Он говорит: — Еще налей.
— Не стоит, — говорю, —

Спешить не надо. Будешь пьян
И весь испортишь бал.
А лучше взял бы свой баян
Да что-нибудь сыграл.

Он заиграл. И ноги вдруг
Заныли у гостей.
И все, чтоб шире сделать круг,
Посдвинулись тесней.

Забыто все, что есть в дому,
Что было на столе,
И обернулись все к нему,
Невеста в том числе.

Кидает пальцы сверху вниз
С небрежностью лихой.
Смотрите, дескать, гармонист
Я все же не плохой...

Пустует круг. Стоит народ.
Поют, зовут меха.
Стоит народ. Чего-то ждет,
Глядит на жениха.

Стоят, глядят мои друзья,
Невеста, теща, мать.
И вижу я, что мне нельзя
Не выйти, не сплясать.

В чем дело, — думаю. Иду, —
Не гордый человек.
Поправил пояс на ходу
И дробью взял разбег.

И завязался добрый спор,
Сразились наравне:
Он гармонист, а я танцор, —
И свадьба в стороне.

— Давай, бодрей, бодрей, — кричу,
Строчу ногами в такт.
А сам как будто я шучу,
Как будто только так.

А сам, хотя навеселе,
Веду свой строгий счет,
Звенит посуда на столе,
Народ в ладони бьет.

Кругом народ. Кругом родня —
Стоят, не сводят глаз.
Кто за него, кто за меня,
А в общем — все за нас.

И все один — и те, и те, —
Выносят приговор,
Что гармонист на высоте,
На уровне танцор.

И, утирая честный пот,
Я на кругу стою,
И он мне руку подает,
А я ему свою.

И нет претензий никаких
У нас ни у кого.
Невеста потчует двоих,
А любит одного.

1938

СВЕРСТНИКИ

Давай-ка, друг, пройдем кружком
По тем дорожкам славным,
Где мы с тобою босиком
Отбегали недавно.
Еще в прогалинах кустов,
Где мы в ночном бывали,
Огнища наши от костров
Позаросли едва ли.
Еще на речке мы найдем
То место возле моста,
Где мы ловили решетом
Плотвичек светлохвостых.
Пойдем-ка, друг, пойдем туда,
К плотине обветшалой,
Где, как по лесенке, вода
По колесу бежала.

Пойдем, посмотрим старый сад,
Где сторож был Данила.
Неделя без году назад
Все это вправду было.
И мы у дедовской земли
С тобой расти спешили.
Мы точно поле перешли —
И стали вдруг большие.
Наш день рабочий начался,
И мы с тобой мужчины.
Нам сеять хлеб, рубить леса
И в ход пускать машины.
И резать плугом целину,
И в океанах плавать,
И охранять свою страну
На всех ее заставах.

Народ мы взрослый, занятой.
Как знать, когда случится
Вот так стоять, вдвоем с тобой,
Над этою криницей?
И пусть в последний раз сюда
Зашли мы мимоходом,
Мы не забудем никогда,
Что мы отсюда родом.
И в грозных будущих боях
Мы вспомним, что за нами —
И эти милые края,
И этот куст, и камень...

Давай же, друг, пройдем кружком
По всем дорожкам славным,
Где мы с тобою босиком
Отбегали недавно.

1938

* * *

Мы на свете мало жили,
Показалось нам тогда,
Что на свете мы чужие,
Расстаемся навсегда.

Ты вернулась за вещами,
Ты спешила уходить
И решила на прощанье
Только печку затопить.

Занялась огнем береста,
И защелкали дрова.
И сказала ты мне просто
Дорогие мне слова.

Знаем мы теперь с тобою,
Как любовь свою беречь.
Чуть увидим что такое —
Так сейчас же топим печь.

1938

МАТЬ И ДОЧЬ

Мчится в поле машина,
Пыль клубится за ней...
— Не к тебе ль, Катерина?..
— Видно, к дочке моей...

Мимо льпа молодого
Проезжают как раз.
— Кто здесь будет Фролова?
— Две Фроловых у нас.

Катерина Фролова —
Это вот она — я,
А Наталья Фролова
Будет дочка моя.

Вон в платочке бордовом,
Можно кликнуть сейчас.
— Нет, товарищ Фролова,
Мы-то лично до вас...

Усмехнулась и руки
Отряхнула она.
— Ну, бросайте, подруги,
Что ж, я выйду одна?..

И по льну осторожно,
Точно вброд босиком,
На лужок придорожный
Все выходят гуськом.

А в тени от машины
Встали строем одним —
Седоусый мужчина
И две женщины с ним.

— Вот, товарищ Фролова,
За высокий ваш лен
От колхоза «Основа»
Вам привет и поклон.

Весь колхоз вам желает
Жить в здоровье сто лет.
Весь колхоз выдвигает
Вас в Верховный Совет.

За уход ваш любовный,
За талант и за труд
Все кругом поголовно
Голоса отдадут...

Отступив, побледнела,
Губы вытерла мать.
На своих поглядела,
На приезжих опять.

Поклонилась: — Ну, что же...
Всем спасибо мое...
Только дочь... помоложе,
Может, лучше ее?..

И тогда виновато
Гость руками развел:
— Если б ехали в сваты,
Так о чем разговор!..

И, как ветром волнуем,
Колыхнулся народ:
Мать поздравить родную
Дочь родная идет.

Мать смуглее и строже,
Дочь светлей и стройней.
Но глазами похожи
И осанкою всей.

Столько сдержанной силы
И у той и у той.
И одною красивы
Строгой кровной красой.

Взгляд и облик тот самый,
И простые черты...
— Мама, что же ты, мама,
Уж не плачешь ли ты?..

1938

ПОЛИНА

Над великой русскою равниной,
Над простором нив, лесов и вод
Летчица, по имени Полина,
Совершила славный перелет.

Были с ней ее подруги смелые,
Женщины под стать — одна в одну.
И от моря Черного до Белого
Путь лежал их через всю страну.

Глубоко внизу прошла под ними
Хлебная украинская степь,
Города, сады и темно-синий,
В берегах зеленых, вольный Днепр.

И остался по пути, наверно,
Где-то в стороне один колхоз,
За оградкой низкой — птичья ферма
И постройки белые вразброс...

Там стоит немолчный
Крик куриный,
Там — всего лишь восемь лет назад —
Птичница, по имени Полина,
Созывала на дворе цыплят.

Там она вела им счет свой строгий,
Чтоб ни одного не потерять.
И клевала ей босые ноги
Хлопотливая цыплячья рать.

И в какой-то летний день обычный,
Заглушая писк и гомон птичий,
Пролетел над фермой самолет.
Птичница стояла у ворот.

И смотрела, сколько видеть можно,
Против солнца заслонясь рукой.
И могучей, сладкой и тревожной
Грудь ее наполнилась тоской...

1938

СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ

Поля обветрились едва —
Ступить с дороги топко.
Как хвоя тонкая, трава
Показывалась робко.

И колесо еще следа
Прорезать не успело.
И запоздалая вода
По всем овражкам пела...

В такой-то день мы шли гулять,
Кино прослышав где-то.
И были оба мы под стать,
Как лорды, разодеты.

И с виду будто от собак,
Для красоты на деле,
Мы с другом прутики в руках
Изящные имели.

Хотя обочные уже
Тропинки были сухи,
Шагали мы настороже,
Оберегая брюки.

А воздух весь звенел вокруг,
И грело солнце так-то!
И вот идем и слышим вдруг:
Стучит, буксуя, трактор.

Понять не трудно, что и как:
Имеет ухо опыт.
Какой-то, думаем, дурак
В грязи машину топит.

Слова готовы наперед:
— Позор! В нетрезвом виде... —
С горы спускаемся — и вот
Мы видим... Что ж мы видим?

Девчонка лет семнадцати
Хлопочет за рулем:
Обволокло по ступицы
Колеса киселем.

Девчонка лет семнадцати
Берет на полный ход.
Но, видно, не податься ей
Ни взад и ни вперед.

Подходят к ней смущенные
Два лорда молодых.
— Позвольте, мы вас вытащим, —
Сказал один из них.

Понятно, соглашается,
Хотя глядит зверьком,
И даже улыбается,
Несчастная, мельком.

Но это дело личное,
А медлить не с руки.
И лорды, не задумавшись,
Снимают пиджаки.

Мости побольше хворосту, —
Кустарник под бокóм.
И трактор вылез вскорости,
Однако суть не в том...

Девчонка, смех стараясь скрыть,
Сидит, глядит понуро.
— Позвольте вас благодарить... —
И руку протянула.

Но мы стоим, мы как без рук:
В грязи по локти руки.
А тут еще мы видим вдруг,
Какие наши брюки.

Стоим. Нельзя подать руки.
Умыться тоже нечем.
Она, смеясь, нам пиджаки
Накинула на плечи.

Он на меня, я на него —
Идем, косясь, бок о бок.
— Ты что?
— А что?
— Да ничего... —
И рассмеялись оба.

Была погода хороша,
Приветлива девчонка.
Шел в гору «Интер» не спеша.
И мы пошли сторонкой.

Потерян был наш прежний лоск,
И нас томила робость.
Знакомство все же началось.
Но тут — сюжет особый...

1938

ЕЩЕ ПРО ДАНИЛУ

Солнце дымное встает, —
Будет день горячий.
Дед Данила свой обход
По усадьбе начал.

Пыль дымит, дрожит земля,
Люди в поле едут.
Внук-шофер из-за руля
Кланяется деду.

День по улице идет,
Окна раскрывает,
Квохчут куры у ворот,
Кролики шныряют.

Все проснулось, все пошло
И заговорило.
А на сердце тяжело.
Темен дед Данила.

Как всегда, при нем кисет,
Спички — все чин чином,
И невесел белый свет
По иным причинам...

Он идет. Наискосок
Тень шагает в ногу,
Протянувшись поперек
Через всю дорогу.

Вьются весело дымки:
Всюду топят печки.
Мажет дегтем сапоги
Сторож на крылечке.

— Здравствуй, сторож! Как дела? —
Говорит Данила. —
Хорошо ли ночь прошла?
Все ли тихо было?

По ухватке сторож лих,
Кроет честь по чести:
— Не случилось никаких
За ночь происшествий.

Никакой такой беды —
Ни большой, ни малой.
Только с неба три звезды
На землю упало.

Да под свет невдалеке
Пес от скуки лаял,
Да плеснулась на реке
Щука — вот такая...

Дед качает головой,
Грустен, строг и важен:
— Ничего ты, страж ночной,
И не знаешь даже.
А прошел бы нынче, брат,
Близ моей ты хаты,
Услыхал бы, как стучат
Ведра и ухваты.
Мог бы ухо приложить
К двери осторожно
И сказал бы сам, что жить
С чертом невозможно.
Ни покоя нет, ни сна —
Все грызет и точит...
— Это, стало быть, жена?..
— Называй как хочешь...

И, едва махнув рукой,
Дед проходит мимо,
Оставляя за собой
Паутинку дыма...

Чуя добрую жару,
Свиньи ищут места.

Солнце, словно по шнуру,
Поднялось отвесно.
Воздух, будто недвижим,
Золотой, медовый.
Пахнет сеном молодым
И смолой вишневой.
И среди дерев укрыт,
Выстроившись чинно,
Дружно воет и гудит
Городок пчелиный.
Луг некошеный душист,
Как глухое лядо.
Вот где благо, вот где жизнь —
Помирать не надо.
Между ульев дед прошел,
Будто проверяя,
С бороды звенящих пчел
Бережно сдувая.
Ходят дед и пчеловод,
Рассуждая тихо:
— Скоро липа зацветет...
— Тоже и гречиха...

И приятна и легка
Дельная беседа,
Но свое исподтишка
Беспокоит деда.

— Вот живу я, — говорит, —
Столько лет на свете.
Спору нету — сыт, прикрыт
И табак в кисете.
Кликну — встанет целый взвод
Сыновей и внуков.
Ото всех кругом — почет,
А от бабы — мука.
Чем бы ни было — корит,
Все ей не по нраву.
Будто завистью горит
На мою на славу.
Ноль ты, дескать, без меня,
Мол, гордишься даром...

Места нет, как от огня,
Как от божьей кары.

Пчеловод считает пчел,
Слушает, зевает:
— Э, Данила, нипочем, —
В жизни все бывает...

— Так-то так... — Встает старик,
Вроде легче стало.
Долог день, колхоз велик,
Путь еще не малый.

Над рекою, над водой,
Чуть пониже сада
Сруб выводит золотой
Плотничья бригада.

Сам Данила плотник был,
Сам всю жизнь работал,
Сколько строил и рубил —
Просто нету счета.
И доныне по своей
Деревянной части,
Может, в области во всей
Он первейший мастер.
Каждый выруб, каждый паз,
И венец, и угол
Проверяет дед на глаз —
Хорошо ль пристругал.
Вся бригада старика
Разом окружила.
Тормошат его слегка:
— Похвали, Данила.

А Данила: — Что хвалить?
Надобно проверить:
Полон сруб воды налить,
Затворивши двери.
Как нигде не потечет, —
Разговор короткий:
Всем вам слава и почет
И по чарке водки.

Шутке этой — тыща лет,
Всем она известна,
Но и сам доволен дед,
И бригаде лестно.

Ус погладив, бригадир
Молвит горделиво:
— Как закончим — будет пир
С музыкой и пивом.
Только ты не подведи,
Чтоб уж верно было:
Со старухой приходи,
С Марковной, Данила.

— Благодарствую, друзья... —
И бормочет глухо:
— Без старухи, что ль, нельзя?
Для чего старуха?

— Как бы ни было — жена,
Сыновей рожала,
Внуков нянчила она,
Правнуков качала.
Как ни что — не близкий путь,
Жизнь прошли вы рядом.
Ну смотри же, не забудь, —
Просит вся бригада...

Двери настежь по пути
Кузница открыла.
Мимо кузницы пройти
Может ли Данила?
Хрипло воет горн в углу,
Клещи в пекло лезут.
А повсюду на полу —
Сколько тут железа!
Лемеха, обломки шин,
Обручи, рессоры,
Шестеренки от машин,
Тракторные шпоры.
Рельс погнутый с полотна,
Кузов от пролетки,
Из церковного окна

Ржавые решетки...
И щекочет деду нос
Запах самовитый —
Краски, мази от колес,
Дыма и копыта.
И готов он без конца,
В строгом восхищенье,
Все глядеть на кузнеца,
На его уменье.
Вот он что-то греет, бьет,
Плющит и корежит.
«Ножик», — скажет наперед.
И выходит ножик.

Сам кузнец форсист и горд, —
Что ж, нельзя иначе,
И прикуривает, черт,
От клещей горячих.

Подавляя вздох в груди,
Дед встает с порога.
А кузнец: — Ты погоди,
Посиди немного.
На минуту на одну
Задержись, Данила,
Кочергу сейчас загну,
Марковна просила...

Дед оказии такой
Рад невероятно.
К дому с теплой кочергой
Шествует обратно.

Дело в том, что не был дед
Злобен по природе,
Да и близится обед,
Да и скучно вроде.
Да и все-таки — жена,
Сыновей рожала,
Внуков нянчила она,
Правнуков качала.
Да и правду — как ни прячь —
Спрятать не во власти:

Сам отчасти был горяч.
Виноват отчасти.

Нерешительны шаги,
Сердце трусу служит.
Но прийти без кочерги
Было б даже хуже.
Потому, как ни суди,
Все-таки услуга.
Дрогнет что-нибудь в груди
У тебя, супруга!

Только вдруг издалека,
И совсем некстати,
Окликает старика
Власов, председатель.
Сели рядом на бревне:
— Вот что, дед Данила,
Заявление ко мне
Нынче поступило...

Снял со лба фуражку дед,
Вытер пот с изнанки.
— От кого же? Ай секрет?
— От одной гражданки.
Ты старик передовой,
Для чего же ради
Со старухою женой
Миром не поладить?
Скажем попросту — подчас
Ей, жене, обидно:
Всюду ты да ты у нас,
А ее не видно.
Сам-то ты идешь вперед —
Молодому впору, —
А старуха не растет —
Оттого и ссоры...

— Нет, позволь, уже позволь, —
Дед перебивает, —
Не бывает в жизни, что ль?
В жизни все бывает.
Про себя ж сказать могу —

Разве я сердитый?
Вот несу ей кочергу —
Значит, все забыто.
И жена от слов своих
Отреклась, я знаю.
Только нация у них
Женская такая.
Днями дружно все у нас,
Неполадки часом...
— Ну смотри ж, в последний раз, —
Заключает Власов.

И встает. — Пока прощай.
День удался знатный.
Клевера-то, брат, как чай, —
Сухи, ароматны.
Только б тучки, — говорит, —
Не собрались за ночь.
Как погода — постоит,
Данила Иваныч? —
И, задумавшись слегка,
Молвит дед солидно:
— Постоять должна пока,
Постоит, как видно...

Подступает к дому дед
Не особо смело.
У крыльца велосипед.
Гости. Лучше дело.
У старухи прибран дом,
Пол сосновый вымыт.
И Сережка за столом,
Внук ее любимый.
От порога дед спешит
Сразу все заметить:
Вот яичница шипит
С треском на загнете.
У старухи добрый вид,
Будто все забыла:
— Где ж так долго, — говорит, —
Пропадал, Данила?

— Обошел я весь колхоз,
В кузнице промешкал,

Да зато тебе принес,
Видишь, кочережку.

— Так и знала — принесешь... —
Голос полон ласки.
Кочергу вручает все ж
Дед не без опаски.
Но, усевшись за столом,
Видит — все в порядке.
— Ну, так выпьем, агроном,
По одной лампадке?

— Всем ты, дед, весьма хорош
И всегда мне дорог.
Вот одно, что водку пьешь...
— Пью, но к разговору.
А не пить, — смеется дед, —
До чего ты ловкий!
Ведь в законе даже нет
Этой установки.

— Пей-ка! — сдался агроном.
Выпили помалу.
Закусили огурцом,
Закусили салом.
Веселее от вина
Повелися речи.
Только смотрит дед — жена
Все стоит у печи.
Будто в хате зябко ей.
Руки сощепила.
Так всю жизнь она гостей
За столом кормила.
Только б кушали они,
Только б сыты вышли.
А сама всегда в тени,
В стороне, как лишний.
Смотрит, думает свое,
Как жила когда-то...
Дед со внуком для нее
Равные ребята.
И тепло, тепло в груди,
И чему-то рада...

— Ну-ка, Марковна, ходи
Да садись-ка рядом.

Вздрогнув, кланяется им:
— Пейте, пейте, что вы...
Уж куда с питьем моим, —
Кланяется снова.
— Подходи, не стой в углу,
Не хозяйка вроде.
— Пейте, пейте... — И к столу
Медленно подходит.
Утирает скромно рот.
— Пейте, пейте. Что вы... —
Рюмку бережно берет:
— Будьте все здоровы.

Мирно старые сидят
Строгой, славной парой.
Внук с улыбкой аппарат
Тащит из футляра.
Дед и бабка за столом
Замерли совместно.
И сидят они рядком,
Как жених с невестой.
А над ними на стене,
Рядом с образами,
Ворошилов на коне
В самодельной раме.
Как получше норовит
Снять их внук форсистый.
И, серьезный сделав вид,
Щелкнул кнопкой быстро.

— Эх, живешь, не знаешь, дед,
О своей ты славе!
Про тебя один поэт
Целый стих составил.

Дед Данила весел, сыт,
Курит бестревожно.
— Все возможно, — говорит, —
Это все возможно...

1938

ДЕД ДАНИЛА В БАНЕ

За рекой над крышей бани
Пар густой валит клубами,
И вокруг на полверсты
Берега, обрывы, склоны
Пахнут каменкой каленой,
Пахнут веником зеленым
Все деревья и кусты.

Баня вытоплена жарко.
Поддавай, воды не жалко:
Речка близко, лей смелей,
Парься, лесу не жалей.

Дед Данила влез на полку,
Дед Данила лег надолго,
Дед Данила лег — так лег, —
Дубом ноги в потолок.

Дед Данила старый плотник,
Он попариться охотник.
В год не реже, как два раза,
Он, бывало, в печку лазал.
На снегу, среди двора,
Обливался из ведра.
И, однако, дед Данила
Отличался редкой силой.
Он об этом скажет сам.
Потаскал кряжей в охоту,
Тыщи бревен обтесал.

А и что бы только было,
Если б смолоду Данила
Мылся в бане, как теперь!

Он бы ростом был повыше,
Он бы притолоку вышиб,
Как вошел бы в эту дверь.

Плотник хвалится здоровьем,
Веселит, смешит народ.
То примером, то присловьем
Славу бане воздает.

— Если хочешь, чтобы тело
На жаре легко потело,
Чтобы сила не сдавала,
Чтоб работа ладом шла,
Чтобы хворь не приставала,
Чтоб не жалила пчела,
Чтоб жена добра была,
Чтобы речь была толкова,
Чтобы шутка — весела, —
Парься веником дубовым,
Мойся в бане добела.

Мойтесь люди. Парьтесь вволю,
Завтра праздник — выезд в поле.
Хоть земля сама черна,
Любит чистого она.

За рекой, над крышей бани,
Пар густой валит клубами.
Пар над теплою землей.
Пахнет мокрою золой.
Молодой смолой — живицей,
Молоком парным,
Весной.

1938

СЕМЬЯ КУЗНЕЦА

Машина под флагом стоит у крыльца,
Цветы по бортам полевые.
Сегодня большая семья кузнеца
Места покидает родные.

Не ведавший прежде далеких дорог,
Старик, человек домовитый,
Кузнец уезжает на Дальний Восток
К своим сыновьям знаменитым.

Не в гости. Еще от работы не прочь
Умелые старые руки.
С ним едет старуха и младшая дочь,
Невестки и первенцы-внуки.

Веселая, дружная эта семья
Жила, подрастала при кузнице темной,
Ухваткой и силой в отца сыновья,
А в мать красотой, моложавой и скромной.

Любил их отец. За вечерним столом
Сидели, как равные, вместе,
Вели деловитые речи втроем,
Втроем затевали и песни.

Давно ли то было? А дети росли,
И вот они вправду мужчины.
У самого края советской земли
Ведут боевые машины.

Своими сынами зовет их страна,
Знакомы народу их лица.
И носят они на груди ордена
За подвиг в бою у границы.

Родительской гордости полон старик,
За шуткой скрывает волненье:
Мол, жить мне теперь интерес не велик
От славы своей в отдаленье.

Мол, еду гулять. Ни забот, ни хлопот,
Живи, отдыхай за сынами.
А смерть подойдет — и опять же почет:
Положат под красное знамя.

И будто бы он по природе простак —
О чем еще думать такому?
А правду сказать — не совсем оно так,
И даже как раз — по-другому.

Охота ему не отстать от детей,
Водить с ними прежнюю дружбу,
Чтоб было ребятам еще веселей
Нести свою трудную службу.

Пускай они все-таки, — думает он, —
С позиции слышат недальней
Знакомый им с детства, уверенный звон
Отцовской простой наковальни.

И, глядя в глухую тревожную мглу,
Готовясь к атаке горячей,
Пускай они знают, что батька в тылу
Свою выполняет задачу.

И пусть, как товарища, чуют плечом,
Чему бы в бою ни случиться,
И многое пусть они знают, о чем
Вперед говорить не годится...

Машина под флагом стоит у крыльца,
Цветы по бортам полевые.
Сегодня большая семья кузнеца
Места покидает родные.

У той, у какой-то далекой версты,
Далеко от этого дома,
Наверно, другие цветут и цветы,
И птицы поют по-иному.

Снял шапку старик, обернулся, взглянул
На дом, на колодец, на крышу с трубою.
— Что ж, трогай! — И молодо, гордо тряхнул
Курчавой седой головою.

И жизнь как бы снова начнется вдали.
Но, дедовский край покидая,
Не брал он на память щепотку земли:
Своя она вся и родная.

1938

ПРО ТЕЛЕНКА

Прибежал пастух с докладом
К Поле Козаковой:
Не пришла домой со стадом
Бурая корова.

Протрубил до полдня в рог
И нигде найти не мог.

Надо ж этому случиться
Горю и тревоге —
В самый раз, как ей телиться —
На последнем сроке.

Забредет, куда не след,
Пропадет — коровы нет.

Да еще совпало это,
Ради злой напасти,
Что самой хозяйки нету,
Скотницы Настасьи.

А характер у самой —
Не сказать, чтоб золотой.

Никому не будет мало,
Как сама вернется,
Вот и знала, скажет, знала —
Что-нибудь стрясется...

И пойдет, пойдет по всей
Улице хвалиться,
Что и не на кого ей
Даже положиться.

Что беды не видели,
Спали все подряд,
Что в хлеву вредители
У нее сидят.
Им с коровами не любо,
Подыхай коровы.
А с шофером скалить зубы
День и ночь готовы...

Что теперь сказать в ответ?
Правда все. Коровы нет.

Не пришла корова с поля,
Пропадет корова.
Что ж ты будешь делать, Поля,
Поля Козакова?..

Вышла за околицу,
В лес пошла одна.
Ходит Поля по лесу.
Полдень. Тишина.

Ходит Поля ельником,
Топчет мох сухой.
Пахнет муравейником,
Хвойною трухой.

В глушь непроходимую,
Жмурясь, пробралась,
Липкой паутиною
Вся обволоклась...

Лес и вдоль и поперек
Поля исходила.
Как девчонка, сбилась с ног,
Села, приуныла.

С чем прийти на скотный двор,
Что сказать Настасье?
Да и тут еще шофер
Виноват отчасти.
Что недаром ходит он —
Это всём известно.

Ну и пусть себе влюблен, —
Ей неинтересно.
Хоть сто лет не будь его,
И на то согласна.
Но попреки каково
Слушать занапрасно.

Спотыкаясь, бродит снова
Девушка усталая.
Ах ты, бурая корова,
Ах ты, дура старая...

Ходит девушка — и вдруг
Где-то за кустами
Будто хрустнул тонкий сук,
Звук тревожный замер...

Притаилась в тишине,
Приподнявши брови.
Слышит: близко, в стороне
Грустный вздох коровий...
Вздох — и снова тишина,
Сонная лесная...
Покачнулся куст — она!
Бурая, родная.
Повернула чуть рога,
Тихо промычала.
На опавшие бока
Будто показала.
Отступила, и у ног,
На траве зеленой,
Мажет слюнями листок
Рыженький теленок.

Длинноногий добрый бык,
И назвать его — Лесник!

Подхватила, как ребенка,
Понесла — и следом мать.
Слышит — выпала гребенка.
Ладно, некогда искать.
Дотащилась до дороги —
Лесом, лядом напрямик.

Ох, тяжел ты, длинноногий,
Теплый, потный, рыжий бык.
Потемнели в поле тени,
Солнце спряталось в лесу.
Млеют девичьи колени,
Мочи нет: — Не донесу...

И, шатаясь, через силу,
Сзади бурая идет.
Мол, и я его носила,
А теперь уж твой черед.

Тихо Поля Козакова
С ношей движется домой.
Жалко рыжего, коровы,
Жалко ей себя самой...
Будто нет ни ног, ни рук —
Повалиться впору.
Только видит Поля вдруг
Своего шофера.

Он идет с горы к реке
С полотенцем на руке.

Он идет, ее не видя,
У него свои дела.
Закричала: — Виктор, Витя! —
Села, дальше не могла.
Подбегает он в испуге,
Плачет девушка навзрыд:
— Ты гуляешь, руки в брюки,
Я страдаю, — говорит.

Опечален и растерян,
Он бормочет: — Виноват... —
Но ему теперь не верят,
Даже слушать не хотят.

— Ты прощенья не проси.
Вот теленок. Сам неси.

Не сказал шофер ни слова,
Взял теленка и понес.

Следом — Поля Козакова,
Покрасневшая от слез.
С ношей бережно шагая,
На нее глядит шофер.
— Что ж ты нервная такая? —
Затевает разговор.
Голос ласков и участлив,
Но еще молчит она.
И своей довольна властью,
Точно строгая жена.
Пусть молчит, а все же видит —
Славный парень, верный друг.
Не оставит, не обидит
И не выпустит из рук.

Молчаливое согласье.
Что минуло — то не в счет.
И навстречу им Настасья
Выбегает из ворот.

Завела свое сначала:
— Так и знала, так и знала... —
Присмотрелась и — молчок.
Дело к свадьбе — угадала,
Улыбнулась и сказала:
— Так и знала, что бычок...

1938

ЗА ТЫСЯЧУ ВЕРСТ...

За тысячу верст
От родимого дома
Вдруг ветер повеет
Знакомо-знакомо...

За тысячу верст
От родного порога
Проселочной, белой
Запахнет дорогой;

Ольховой, лозовой
Листвой запыленной,
Запаханным паром,
Отавой зеленой;

Картофельным цветом,
Желтеющим льном
И теплым зерном
На току земляном;

И сеном и старою
Крышей сарая...
За тысячу верст
От отцовского края...

За тысячу верст
В стороне приднепровской —
Нежаркое солнце
Поры августовской.

Плывут паутины
Над сонным жнивьем,
Краснеют рябины
Под каждым окном.

Хрипят по утрам
Петушки молодые,
Дожди налегке
Выпадают грибные.

Поют трактористы,
На зябь выезжая,
Готовятся свадьбы
Ко Дню урожая.

Страда отошла,
И земля поостыла.
И веники вяжет
Мой старый Данила.

Он прутик до прутика
Ровно кладет:
Полдня провозиться,
А париться — год!

Привет мой сыновий
Далекому краю.
Поклон мой, Данила,
Тебе посылаю.

И всем старикам
Богатырской породы
Поклон-пожеланье
На долгие годы.

Живите, красуйтесь
И будьте здоровы —
От веников новых
До веников новых.

Поклон чудакам,
Балагурам непраздным,
Любителям песен
Старинных и разных.

Любителям выпить
С охоты — не с горя,
Рассказчикам всяческих
Славных историй...

Поклон землякам —
Мастерам, мастерицам,
Чья слава большая
Дошла до столицы.

Поклон одногодкам,
С кем бегал когда-то:
Девчонкам, ребятам —
Замужним, женатым.

Поклон мой лесам,
И долинам, и водам,
Местам незабвенным,
Откуда я родом,

Где жизнь начиналась,
Береза цвела,
Где самая первая
Юность прошла...

Родная страна!
Признаю, понимаю:
Есть много других,
Кроме этого края.

И он для меня
На равнине твоей
Не хуже, не лучше,
А только милей.

И шумы лесные,
И говоры птичьи,
И бедной природы
Простое обличье;

И стежки, где в поле
Босой я ходил
С пастушеским ветром
Один на один;

И песни, и сказки,
Что слышал от деда,
И все, что я видел,
Что рано изведал, —

Я в памяти все
Берегу, не теряя,
За тысячу верст
От родимого края.

За тысячу верст
От любимого края
Я все мои думы
Ему поверяю.

Я шлю ему свой
Благодарный привет,
Загорьевский парень,
Советский поэт.

1938

СЕЛЬСКОЕ УТРО

Звон из кузницы несется,
Звон по улице идет.
Отдается у колодца,
У заборов, у ворот.
Дружный, утренний, здоровый
Звон по улице идет.
Звонко стукнула подкова,
Под подковой хрустнул лед;
Подо льдом ручей забулькал,
Зазвенело все кругом;
Тонко дзинькнула сосулька,
Разбиваясь под окном;
Молоко звонит в посуду,
Бьет рогами в стену скот, —
Звон несется отовсюду —
Наковальня тон дает.

1938

* * *

Звезды, звезды, как мне быть,
Звезды, что мне делать,
Чтобы так ее любить,
Как она велела?

Вот прошло уже три дня,
Как она сказала:
— Полюбите так меня,
Чтоб вам трудно стало.

Чтобы не было для вас
Все на свете просто,
Чтоб хотелось вам подчас
Прыгнуть в воду с моста.

Чтоб ни дыма, ни огня
Вам не страшно было.
Полюбите так меня,
Чтоб я вас любила.

1938

ДЕТИ

Стол красуется накрытый.
День не просто выходной:
В доме летчик знаменитый,
Гость желанный — сын родной.

Загорелый, синеглазый.
— Вырос, — шутят старики, —
Как вошел в избу, так сразу
Стали ниже потолки...

А у дома, у машины —
Сходка целая ребят.
Все, как взрослые мужчины,
Руки за спину, стоят.

И, наверно, мыслит каждый:
Погодите, дайте срок,
Точно так и я однажды
В гости гряну на порог.

1938

* * *

Сын мой уснул, разметавшись,
Руки подняв к голове,
Как богатырь подгулявший
В праздничный день на траве.

Щеки его розовеют,
Губы подсохли слегка.
Спит он — нельзя здоровее,
Жизнь у него велика.

Знаю, он вырастет скоро,
Думать и верить хочу,
Гору воздвигнуть на гору
Будет ему по плечу.

Мужеством, доблестью, силой
Будешь ты многих славней,
Сын моей родины милой,
Мой и подруги моей.

Но это было бы горько,
Как бы ни славен ты был,
Мне-то прославиться только
Тем, что тебя я родил.

Нет, но я верю, наследник,
Будет известно тебе,
Что человек не последний
Был я и сам по себе.

Браться за дело — так браться.
Каждому вольная ширь.
Даже с тобой потягаться
Хочется мне, богатырь.

⟨*1938*⟩

НА СТАРОМ ДВОРИЩЕ

Во ржи чудно и необычно —
С полуобрушенной трубой,
Как будто памятник кирпичный,
Стоит она сама собой.

Вокруг солома в беспорядке,
Костра сухая с потолка,
Плетень, поваленный на грядки,
И рытый след грузовика.

Пустынно. Рожь бушует глухо,
Шумит — и никого кругом.
И только с граблями старуха
На бывшем дворище своем.

Бегут дымки ленивой пыли.
С утра старуха на ногах,
Все ищет, — может, что забыли
На старом месте второпях.

И хоть вокруг ни сошки нету,
От печки той одной — нет-нет,
Повеет деревом согретым,
Прокопченным за много лет.

Повеет вдруг жильем обжитым:
Сенями — сени, клетью — клеть.
И что-то вправду здесь забыто,
И жаль, хоть нечего жалеть.

А солнце близится к обеду,
Глядит старуха, ждет людей —
В последний раз сюда приедут, —
Живи, живи да молодей!

Там, где отныне двор, где люди,
Где всем углам иная стать,
В других окошках солнце будет
Всходить, в других в полдни стоять.

Там, где и улица и речка,
Где ближе к дому белый свет, —
Дымить уже не будет печка,
Как эта здесь от ветхих лет.

Во ржи — чудно и необычно,
Кидая на подворье тень,
Как будто памятник кирпичный,
Стоит она. Последний день.

Кирка и лом покончат с нею,
И плуг проедет прицепной.
И только гуще и темнее
Здесь всходы выбегут весной.

1939

НА ХУТОРЕ ЗАГОРЬЕ

На хуторе Загорье
Росли мы у отца,
Зеленое подворье
У самого крыльца,
По грядкам — мак махровый,
Подсолнух, лук, морковь.
На полдень сад плодовый:
Пять яблонь — пять сортов.

На хуторе Загорье
В былые времена
Леса, поля и взгорья
Имели имена.

На Белой горке солнце
Вставало поутру,
На Желтой горке — елки
Темнели ввечеру.
А поле, что за баней
Легло правей гумна,
Мы Полем под дубами
Назвали издавна.

Свой клин, своя держава
Лежала у крыльца,
Налево и направо —
До первого копца [1].
На том большом просторе,
Все как один с лица,
На хуторе Загорье
Росли мы у отца.

---

[1] Копец — межевой знак. *(Прим. автора.)*

На хуторе корову
Пасли мы впятером,
Сад стерегли плодовый,
Смотрели за двором.
В овине хлеб сушили,
Брели за бороной.
Ходили, как большие,
С руками за спиной.

Мы были хуторяне.
Отец нам не мешал,
Мы хутор свой заране
Делили по душам.
В избе и в поле часто
Вели мы жаркий спор,
Кому какой участок,
Кому где ставить двор.

Согласно поговорке,
Старались так решить,
Чтоб не тебе задворки,
А мне одни оборки,
А чтоб на Белой горке
И чтоб на Желтой горке
Всем братьям ровно жить.

Дворов, дворов — деревня,
Все батькины сыны.
На пятерых деревья
В саду разделены.
На пятерых коровка,
И лошадь, и хомут,
На пятерых веревка
И наш ременный кнут.
На пятерых, по силе,
Лопата, плуг, коса,
На пятерых — четыре
Тележных колеса...

О детство! Смех и горе!
Десятою травой
На хуторе Загорье
Порос участок мой.

Ни знака, ни приметы
Бывалой не найдешь,
Ни Белой горки нету,
Ни Желтой горки — рожь,
Высоко, гордо вскинув
Свой колос молодой,
Границы хуторские
Укрыла под собой.

На хутор свой Загорье —
Второй у батьки сын —
На старое подворье
Приехал я один.

А где ж вы, братья, братцы,
Моя родная кровь?
Вам съехаться б, собраться
На старом месте вновь.

Как в песне либо в сказке,
Слететься б вам, друзья,
Слететься б вам, подпаски
Загорьевской закваски, —
Да нет! Как раз нельзя.

Как в песне либо в сказке —
Забот моей родне:
Великие участки
У всех в родной стране.

Налево и направо
Лежит во все концы
Свой край, своя держава, —
Служите, молодцы!

По долгу и по праву,
Когда настанет час,
На смерть, на бой, на славу
За родину-державу
Идите, не страшась!

На хутор свой Загорье —
Второй у батьки сын —

На старое подворье
Пришел, стою один.
Стою во ржи молочной,
И так далек, далек
Глухой, чудной, нарочный
Наш хутор-хуторок.

Сошло, прошло, забыто,
Давно, как пыль дождем,
К земле сырой прибито,
Пластом земли покрыто,
И дымным цветом жито
Цветет на месте том.

1939

ДРУЗЬЯМ

Друзья, с кем я коров стерег,
Костры палил, картошку пек,
С кем я сорочьи гнезда рыл,
Тайком ольховый лист курил, —
Друзья, когда кому-нибудь
Еще случится заглянуть
В Загорье наше, — это я
Все наши обошел края,
По старым стежкам я бродил,
За всех вас гостем я здесь был.

Пойду в поля — хлеба стеной,
Во ржи не виден верховой.
Гречихи, льны, овсы — по грудь,
Трава — косы не протянуть.

Земля в цвету — и все по ней:
В домах — светлей, народ — добрей.
А нынче, в самый сенокос,
На гармониста всюду спрос.

Как вечер — танцы при луне,
Как вечер, братцы, грустно мне —
В своих местах, в родных кустах
Без вас, друзей, гулять в гостях.

Я даже думал в эти дни:
А вдруг как съедутся они
Со всех концов, краев, столиц,
С военных кораблей, с границ.
И сядем мы за стол в кружок
И за вином пошлем в ларек.
И выпьем мы, как долг велит,

Без лишних споров и обид,
Друг перед дружкою гордясь,
На ордена свои косясь.

Но вы, друзья, кто там, кто там,
У дела, по своим постам.
Вы в одиночку, как и я,
В родные ездите края.
Наш год, наш возраст самый тот,
Что службу главную несет.
И быть на месте в должный час
Покамест некому за нас...

Друзья, в отцовской стороне,
Не знаю что: не спится мне.
Так зори летние близки,
Так вкрадчиво поют сверчки,
Так пахнут липы от росы.
И в сене тикают часы,
А щели залиты луной,
А за бревенчатой стеной,
Во сне, как много лет назад,
Считает листья старый сад.
Глухой, на ощупь, робкий счет —
Все тот, а все-таки не тот...

И всяк из вас, кто вслед за мной
Свой угол посетит родной,
Такую ж, может быть, точь-в-точь
Здесь проведет однажды ночь.
Наверно, так же будет он
Взволнован за день, возбужден,
Лежать, курить, как я сейчас,
О детстве думая, о нас,
О давних днях, о старине,
О наших детях, о войне,
О множестве людских путей,
О славе родины своей.

1939

ПОЕЗДКА В ЗАГОРЬЕ

Сразу радугу вскинув,
Сбавив солнечный жар,
Дружный дождь за машиной
Три версты пробежал
И скатился на запад,
Лишь донес до лица
Грустный памятный запах
Молодого сенца.

И повеяло летом,
Давней, давней порой,
Детством, прожитым где-то,
Где-то здесь, за горой.

Я смотрю, вспоминаю
Близ родного угла,
Где тут что: где какая
В поле стежка была,
Где дорожка...
                    А ныне
Тут на каждой версте
И дороги иные,
И приметы не те.
Что земли перерыто,
Что лесов полегло,
Что границ позабыто,
Что воды утекло!..

Здравствуй, здравствуй, родная
Сторона!
               Сколько раз
Пережил я заране
Этот день, этот час...

Не с нужды, как бывало —
Мир нам не был чужим, —
Не с котомкой по шпалам
В отчий край мы спешим
Издалека.
А все же —
Вдруг меняется речь,
Голос твой, и не можешь
Папиросу зажечь.

Куры кинулись к тыну,
Где-то дверь отперлась.
Ребятишки машину
Оцепляют тотчас.

Двор. Над липой кудлатой
Гомон пчел и шмелей.
— Что ж, присядем, ребята,
Говорите, кто чей?..

Не имел на заметке
И не брал я в расчет,
Что мои однолетки —
Нынче взрослый народ.

И едва ль не впервые
Ощутил я в душе,
Что не мы молодые,
А другие уже.

Сколько белого цвета
С липы смыло дождем.
Лето, полное лето,
Не весна под окном.
Тень от хаты косая
Отмечает полдня.

Слышу, крикнули:
— Саня! —
Вздрогнул, нет, — не меня.

И друзей моих дети
Вряд ли знают о том,
Что под именем этим
Бегал я босиком.

Вот и дворик и лето,
Но все кажется мне,
Что Загорье не это,
А в другой стороне...

Я окликнул не сразу
Старика одного.
Вижу, будто бы Лазарь.
— Лазарь!
— Я за него...

Присмотрелся — и верно:
Сед, посыпан золой
Лазарь, песенник первый,
Шут и бабник былой.
Грустен. — Что ж, мое дело, —
Годы гнут, как медведь.
Стар. А сколько успело
Стариков помереть...

Но подходят, встречают
На подворье меня,
Окружают сельчане,
Земляки и родня.

И знакомые лица,
И забытые тут.
— Ну-ка, что там в столице.
Как там наши живут?

Ни большого смущенья,
Ни пустой суеты,
Только вздох в заключенье:
— Вот приехал и ты...

Знают: пусть и покинул
Не на шутку ты нас,
А в родную краину,
Врешь, заедешь хоть раз...

Все Загорье готово
Час и два простоять,
Что ни речь, что ни слово —
То про наших опять.

За недолгие сроки
Здесь прошли-пролегли
Все большие дороги,
Что лежали вдали.

И велик, да не страшен
Белый свет никому.
Всюду наши да наши,
Как в родимом дому.

Наши вверх по науке,
Наши в дело идут.
Наших жителей внуки
Только где не растут!

Подрастут ребятишки,
Срок пришел — разбрелись.
Будут знать понаслышке,
Где отцы родились.

И как возраст настанет
Вот такой же, как мой,
Их, наверно, потянет
Не в Загорье домой.

Да, просторно на свете
От крыльца до Москвы.
Время, время, как ветер,
Шапку рвет с головы...

— Что ж, мы, добрые люди, —
Ахнул Лазарь в конце, —
Что ж, мы так-таки будем
И сидеть на крыльце?

И к Петровне, соседке,
В хату просит народ.
И уже на загнетке
Сковородка поет.

Чайник звякает крышкой,
Настежь хата сама.
Две литровки под мышкой
Молча вносит Кузьма.

Наш Кузьма неприметный,
Тот, что из году в год,
Хлебороб многодетный,
Здесь на месте живет.

Вот он чашки расставил,
Налил прежде в одну,
Чуть подумал, добавил,
Поднял первую:
— Ну!
Пить — так пить без остатку,
Раз приходится пить...

И пошло по порядку,
Как должно оно быть.

Все тут присказки были
За столом хороши.
И за наших мы пили
Земляков от души.
За народ, за погоду,
За уборку хлебов,
И, как в старые годы,
Лазарь пел про любовь.

Пели женщины вместе,
И Петровна — одна.
И была ее песня —
Старина-старина.
И она ее пела,
Край платка теребя,
Словно чье-то хотела
Горе взять на себя.

Так вот было примерно.
И покинул я стол
С легкой грустью, что первый
Праздник встречи прошел;
Что, пожив у соседей,
Встретив старых друзей,
Я отсюда уеду
Через несколько дней.
На прощанье помашут —
Кто платком, кто рукой,

И поклоны всем нашим
Увезу я с собой.
Скоро ль, нет ли, не знаю,
Вновь увижу свой край.

Здравствуй, здравствуй, родная
Сторона.
                И — прощай!..

1939

* * *

Рожь, рожь... Дорога полевая
Ведет неведомо куда.
Над полем низко провисая,
Лениво стонут провода.
Рожь, рожь — до свода голубого,
Чуть видишь где-нибудь вдали,
Ныряет шапка верхового,
Грузовичок плывет в пыли.
Рожь уходилась. Близки сроки,
Отяжелела и на край
Всем полем подалась к дороге,
Нависнула — хоть подпирай.
Знать, колос, туго начиненный,
Четырехгранный, золотой,
Устал держать пуды, вагоны,
Составы хлеба над землей.

1939

ЖЕНИТЬБА ШОФЕРА

Все ровесники-ребята,
Все товарищи женаты.
Все женаты, а шофер —
Одинокий до сих пор.

И всему тому причина —
За рулем шофер чуть свет.
Не стоит ни дня машина,
Рад жениться — часу нет.

Дни и месяцы минуют,
А шоферу жизнь — не жизнь.
— Вот закончим посевную —
Мойся в бане и женись!

За дорогою дорога,
Перевозки день за днем.
— Потерпи еще немного, —
Только сено уберем.

От поры к поре горячей.
Скошен луг — поспела рожь.
— Погоди, брат, а иначе
Всю кампанию сорвешь.

Ждет да терпит малый честный:
Отказаться как же вдруг?
Третью за лето невесту
Упустил уже из рук.

Видит сам: дела ни к черту,
Нет кампаниям конца.
Подкатил к своей четвертой,
Развернулся у крыльца.

Надавил рожок сигнальный...
Да — так да, а нет — так нет.
Заявил официально:
Точка. Едем в сельсовет.

Все ровесники-ребята,
Все товарищи женаты.
Все женаты, и шофер,
Говорят, женат с тех пор.

1939

ДЕД ДАНИЛА В ЛЕС ИДЕТ

Неизменная примета,
Что самой зиме черед, —
В шубу, в валенки одетый,
Дед Данила в лес идет.

Ходит по лесу тропою,
Ищет понизу на глаз:
Что ни самое кривое,
То ему и в самый раз.

Подыскать дубок с коленцем,
Почуднее что-нибудь,
Ловко вырубить поленце,
Прихватить — и дальше в путь.

Дело будто бы простое,
Но недаром говорят:
Как пойдешь искать прямое —
То кривое все подряд,
А пойдешь искать кривое —
Все прямое аккурат.

Нарубил дубья Данила
Добрый на зиму запас,
Чтобы чем заняться было
В долгий вечер, в поздний час.

Не прошел большой науки,
Плотник — все же не столяр,
Но от скуки — на все руки,
Чтоб верстак не зря стоял.

Чуть нужда — к Даниле сразу
Конюх, сторож, кладовщик.
Крюк ли, обруч — нет отказу,
Санки, грабли — рад старик.

Ничего не жаль Даниле —
И запаслив и не скуп.
Только любит, чтоб спросили
У него про клен и дуб.

До того Даниле любо
Вновь подробно изложить,
Что нельзя, мол, жить без дуба,
А без клена можно жить;
Что не может клен для сруба
Так, как дуб, столбом служить.

Что береза — клену впору —
Тот же слой и тот же цвет.
Но не может быть и спору,
Что замены дубу нет.

Дуб — один. На то и слово:
Царь дерев. Про то и речь.
Правда, лист хорош кленовый
Хлеб сажать хозяйке в печь.

И давно ли это было —
Год назад, не то вчера —
Так не так, а деду мило
Вспомнить эти вечера.

Ходит он неутомимый,
И желательно ему,
Чтоб и в нынешнюю зиму
Разговор вести любимый
За работою в дому.

Крепок дуб, могуча сила,
Но и дубу есть свой век.
Дубу, — думает Данила, —
А Данила — человек.

Ходит старый, гаснет трубка,
Остановка, что ни шаг.
Ходит, полы полушубка
Подоткнувши под кушак.

Лес притихнул. Редко-редко
Белка поверху стрельнет,
Да под ней качнется ветка,
Лист последний упадет.

И как будто в сон склонило.
День к концу. Пора назад.
Вышел из лесу Данила —
Мухи белые летят.

С рукава снежинку сдунул.
Что-то ноша тяжела.
«Вот зима пришла, — подумал,
Постоял. — За мной пришла».

Час придет — и вот он сляжет.
И помрет. Ну что ж! Устал.
И, наверно, кто-то скажет:
— Дед Данила дуба дал.

Шутка издавна известна.
Шутка — шуткой. А дубье
Нарубил — неси до места.
Дослужи, Данила, честно,
Дальше дело не твое.

1939

* * *

День пригреет — возле дома
Пахнет позднею травой,
Яровой, сухой соломой
И картофельной ботвой.
И хотя земля устала,
Все еще добра, тепла:
Лен разостланный отава
У краев приподняла.
Но уже темнеют реки,
Тянет кверху дым костра.
Отошли грибы, орехи.
Смотришь, утром со двора
Скот не вышел. В поле пусто.
Белый утренник зернист.
И свежо, морозно, вкусно
Заскрипел капустный лист.
И за криком журавлиным,
Завершая хлебный год,
На ремонт идут машины,
В колеях ломая лед.

1939

ЛЕНИН И ПЕЧНИК

В Горках знал его любой,
Старики на сходку звали,
Дети — попросту, гурьбой,
Чуть завидят, обступали.

Был он болен. Выходил
На прогулку ежедневно.
С кем ни встретится, любил
Поздороваться душевно.

За версту — как шел пешком —
Мог его узнать бы каждый.
Только случай с печником
Вышел вот какой однажды.

Видит издали печник,
Видит: кто-то незнакомый
По лугу по заливному
Без дороги — напрямик.

А печник и рад отчасти, —
По-хозяйски руку в бок, —
Ведь при царской прежней власти
Пофорсить он разве мог?

Грядка луку в огороде,
Сажень улицы в селе, —
Никаких иных угодий
Не имел он на земле...

— Эй ты, кто там ходит лугом!
Кто велел топтать покос?! —
Да с плеча на всю округу
И поехал, и понес.

Разошелся.
А прохожий
Улыбнулся, кепку снял.
— Хорошо ругаться можешь, —
Только это и сказал.

Постоял еще немного,
Дескать, что ж, прости, отец,
Мол, пойду другой дорогой...
Тут бы делу и конец.

Но печник — душа живая, —
Знай меня, не лыком шит! —
Припугнуть еще желая:
— Как фамилия? — кричит.

Тот вздохнул, пожал плечами,
Лысый, ростом невелик.
— Ленин, — просто отвечает.
— Ленин! — Тут и сел старик.

День за днем проходит лето,
Осень с хлебом на порог,
И никак про случай этот
Позабыть печник не мог.

А по свежей по пороше
Вдруг к избушке печника
На коне в возке хорошем —
Два военных седока.

Заметалась беспокойно
У окошка вся семья.
Входят гости:
— Вы такой-то?
Свесил руки:
— Вот он я...

— Собирайтесь! —
Взял он шубу,
Не найдет, где рукава.
А жена ему:
— За грубость,
За свои идешь слова...

Сразу в слезы непременно,
К мужней шубе — головой.
— Попрошу, — сказал военный. —
Ваш инструмент взять с собой.

Скрылась хата за пригорком.
Мчатся санки прямиком.
Поворот, усадьба Горки,
Сад, подворье, белый дом.

В доме пусто, нелюдимо,
Ни котенка не видать.
Тянет стужей, пахнет дымом, —
Ну овин — ни дать ни взять.

Только сел печник в гостиной,
Только на пол свой мешок —
Вдруг шаги, и дом пустынный
Ожил весь, и на порог —

Сам, такой же, тот прохожий.
Печника тотчас узнал:
— Хорошо ругаться можешь, —
Поздоровавшись, сказал.

И вдобавок ни словечка,
Словно все, что было, — прочь.
— Вот совсем не греет печка.
И дымит. Нельзя ль помочь?

Крякнул мастер осторожно,
Краской густо залился.
— То есть как же так нельзя?
То есть вот как даже можно!..

Сразу шубу с плеч — рывком,
Достает инструмент. — Ну-ка... —
Печь голландскую кругом,
Точно доктор, всю обстукал.

В чем причина, в чем беда
Догадался — и за дело.
Закипела тут вода,
Глина свежая поспела.

Все нашлось — песок, кирпич,
И спорится труд, как надо.
Тут печник, а там Ильич
За стеною пишет рядом.

И привычная легка
Печнику работа.
Отличиться велика
У него охота.

Только будь, Ильич, здоров,
Сладим любо-мило,
Чтоб, каких ни сунуть дров,
Грела, не дымила.

Чтоб в тепле писать тебе
Все твои бумаги,
Чтобы ветер пел в трубе
От веселой тяги.

Тяга слабая сейчас —
Дело поправимо,
Дело это — плюнуть раз,
Друг ты наш любимый...

Так он думает, кладет
Кирпичи по струнке ровно.
Мастерит легко, любовно,
Словно песенку поет...

Печь исправлена. Под вечер
В ней защелкали дрова.
Тут и вышел Ленин к печи
И сказал свои слова.

Он сказал, — тех слов дороже
Не слыхал еще печник:
— Хорошо работать можешь,
Очень хорошо, старик.

И у мастера от пыли
Зачесались вдруг глаза.
Ну а руки в глине были —
Значит, вытереть нельзя.

В горле где-то все запнулось,
Что хотел сказать в ответ,
А когда слеза смигнулась,
Посмотрел — его уж нет...

За столом сидели вместе,
Пили чай, велася речь
По порядку, честь по чести,
Про дела, про ту же печь.

Успокоившись немного,
Разогревшись за столом,
Приступил старик с тревогой
К разговору об ином.

Мол, за добрым угощеньем
Умолчать я не могу,
Мол, прошу, Ильич, прощенья
За ошибку на лугу.
Сознаю свою ошибку...

Только Ленин перебил:
— Вон ты что, — сказал с улыбкой, —
Я про то давно забыл...

По морозцу мастер вышел,
Оглянулся не спеша:
Дым столбом стоит над крышей, —
То-то тяга хороша.

Счастлив, доверху доволен,
Как идет — не чует сам.
Старым садом, белым полем
На деревню зачесал...

Не спала жена, встречает:
— Где ты, как? — душа горит...
— Да у Ленина за чаем
Засиделся, — говорит...

1938—1940

* * *

Зашел я в дом, где жил герой,
А нынче мать его осталась
Да с ней парнишка — сын второй,
Что стал опорою под старость.

Большому горю скоро год,
А мать по-прежнему украдкой —
Нет-нет и снова перечтет
Все те слова бумаги краткой.

Знать, с каждым разом в том письме
Дороже буква ей любая.
Сидит, забывшись, как во сне,
Из рук платок не выпуская.

С пеленок сына никому
Не уступали эти руки,
Кроили курточки ему,
Обнять спешили в день разлуки.

И вот молва гремит о нем,
Все почести ему отдали.
А здесь его, в селе родном,
Еще по отчеству не звали —

Так молод был. Кому бы знать,
Что многих славою богаче
Он станет вдруг. А мать? А мать
И думать не могла иначе.

Что в самый кинется огонь,
Не струсит, знала без проверки...
Стоит в углу его гармонь
И стопка книг на этажерке.

И на меньшого смотрит мать:
Ничем тут, видно, не поможешь.
Ему играть, ему читать
И быть на старшего похожим.

1940

* * *

Садик в поле открытом,
Ни избы, ни трубы.
В землю новые врыты
В новом месте столбы.
Стены новые выше
И не первый им год.
И под самую крышу
Новый сад достает...
Клонит яблоньки ветер,
Гонит по полю рожь.
Все другое на свете,
Все — куда ни пойдешь.

1940

СТРАНА МУРАВИЯ

ГЛАВА 1

С утра па полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху — облака.

Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят, — а что тут на земле,
Не знают журавли...

У перевоза стук колес,
Сбой, гомон, топот ног.
Идет народ, ползет обоз,
Старик паромщик взмок.

Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком,
Уполномоченный спешит,
И баба с сундучком.

Паром идет, как карусель,
Кружась от быстрины.
Гармошку плотничья артель
Везет на край страны...

Гудят над полем провода,
Столбы вперед бегут,
Гремят по рельсам поезда,
И воды вдаль текут.

И шапки пены снеговой
Белеют у кустов,
И пахнет смолкой молодой
Березовый листок.

И в мире — тысячи путей
И тысячи дорог.
И едет, едет по своей
Никита Моргунок.

Бредет в оглоблях серый конь
Под расписной дугой,
И крепко стянута супонь
Хозяйскою рукой.

Дегтярку сзади привязал,
Засунул кнут у ног,
Как будто в город, на базар,
Собрался Моргунок.

Умытый в бане, наряжен
В пиджак и сапоги,
Как будто в гости едет он,
К родне на пироги.

И двор — далеко за спиной,
Бегут вперед столбы.
Ни хаты не видать родной,
Ни крыши, ни трубы...

По ветру тянется дымок
С ольхового куста.
— Прощайте,— машет Моргунок,—
Отцовские места!..

ГЛАВА 2

Из-за горы навстречу шло
Золотоглавое село.

Здесь проходил, как говорят,
В Москву Наполеон.
Здесь тридцать восемь лет назад
Никита был крещен.

Здесь бухали колокола
На двадцать деревень,
Престол и ярмарка была
В зеленый духов день.

И первым был из всех дворов
Двор — к большаку лицом,
И вывеска «Илья Бугров»
Синела над крыльцом...

Никита ехал прямиком.
И вдруг — среди села —
Не то базар, не то погром, —
Веселые дела!

Народ гуляет под гармонь,
Оглобель — лес густой,
Коней завидя, сбился конь...
Выходят люди:
— Стой!..

— Стой, нет пощады никому,
И честь для всех одна:
Гуляй на свадьбе, потому —
Последняя она...

Кто за рукав,
Кто за полу, —
Ведут Никиту
В дом, к столу.

Ввели и — чарку — стук ему!
И не дыши — до дна!
— Гуляй на свадьбе, потому —
Последняя она...

И лез хозяин через стол:
— Моя хата —
Мой простор.
Становись, сынок, на лавку,
Пей, гуляй,
Справляй престол!..

Веселитесь, пейте, люди,
Все одно:
Что в бутылке,
Что на блюде —
Чье оно?

Чья скотинка?
Чей амбар?
Чей на полке
Самовар?..

За столом, как в бане, тесно,
Моргунок стирает пот,
Где жених тут, где невеста,
Где тут свадьба? — Не поймет.

А хозяин без заминки
Наливает по другой.
— Тут и свадьба и поминки —
Все на свете, дорогой.

С неохотой, еле-еле
Выпил чарку Моргунок.
Гости ели, пили, пели,
Говорили, кто что мог...

Что за пóмин?
— Помин общий.
— Кто гуляет?
— Кулаки!
Поминаем душ усопших,
Что пошли на Соловки.

— Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки, —
Милицейские ребята
Выводили под руки...

— Будет нам пить,
Будет дурить...

— Исус Христос
Чудеса творил...

— А кто платил,
Когда я да не платил?..

— Отчего ты, божья птичка,
Хлебных зерен не клюешь?
Отчего ты, невеличка,
Звонких песен не поешь?

Отвечает эта птичка:
— Жить я в клетке не хочу.
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу...

— Будет нам пить,
Будет дурить.
Пора бы нам одуматься,
Пойти домой, задуматься:
Что завтра пропить?

— Исус Христос
По воде ходил...

— А кто платил,
Когда я не платил?
За каждый стог,
Что в поле метал,
За каждый рог,
Что в хлеву держал,
За каждый воз,
Что с поля привез,
За собачий хвост,
За кошачий хвост,
За тень от избы,
За дым от трубы,
За свет и за мрак,
И за просто, и за так...

— Знаем! Сам ты не дурак,
Хлеб-то в воду ночью свез:
Мол, ни мне, ни псу под хвост.
Знаем! Сами не глупей.
Пей да ешь, ешь да пей!

— Сорок лет тому назад
Жил да был один солдат.
Тут как раз холера шла,
В день катала полсела.
Изо всех один солдат
Жив остался, говорят.
Пил да ел, как богатырь,
И по всем читал псалтырь,
Водку в миску наливал,
Делал тюрьку и хлебал,
Все погибли, а солдат
Тем и спасся, говорят.

— Трулля-трулля-трулля-ши!..
Пропил батька лемеши,
А сынок —
Топорок,
А дочушка —
Гребенек,
А матушка,
Того роду,
Пропила

Сковороду.
Па-алезла под печь:
«Сынок, блинов нечем печь...»

— Все кричат, а я молчу:
Все одно — безделье.
А Илье-то Кузьмичу —
Слезки, не веселье...

— Подноси, вытаскивай,
Угощенье ставь!

— До чего он ласковый,
Добродушный стал.

Дескать, мы ж друзья-дружки,
Старые соседи.
Мол, со мной на Соловки
Все село поедет...

— Слышь, хозяин, не жалей
Божью птичку в клетке.
Заливай, пои гостей,
Дыхай напоследки!..

Загудели гости смутно,
Встал, шатаясь, Моргунок,
Будто пьян, на воздух будто,
Потихоньку — за порог.

Над дорогой пыль висела,
Не стихал собачий лай.
Ругань, песни...

— Трогай, Серый.
Где-нибудь да будет край...

ГЛАВА 3

Далеко стихнуло село,
И кнут остыл в руке,
И синевой заволокло,
Замглилось вдалеке.

И раскидало конский хвост
Внезапным ветерком,
И глухо, как огромный мост,
Простукал где-то гром.

И дождь поспешный, молодой,
Закапал невпопад.
Запахло летнею водой,
Землей, как год назад...

И по-ребячьи Моргунок
Вдруг протянул ладонь.
И, голову склонивши вбок,
Был строг и грустен конь.

То конь был — нет таких коней!
Не конь, а человек.
Бывало, свадьбу за пять дней
Почует, роет снег.

Земля, семья, изба и печь,
И каждый гвоздь в стене,
Портянки с ног, рубаха с плеч —
Держались на коне.

Как руку правую, коня,
Как глаз во лбу, берег
От вора, мора и огня
Никита Моргунок.

И в ночь, как съехать со двора,
С конем был разговор,
Что все равно не ждать добра,
Что без коня — пе двор;
Что вместе жили столько лет,
Что восемь бед — один ответ.

А конь дорогою одной
Везет себе вперед.
Над потемневшею спиной
Белесый пар идет.

Дождь перешел. Следы копыт
Наполнены водой.
Кривая радуга висит
Над самою дугой...

День на исходе. Моргунку
Заехать нужно к свояку:
Остановиться на ночлег,
Проститься как-никак.
Душевной жизни человек
Был Моргунков свояк.
Дружили смолоду, с тех пор,
Как взяли замуж двух сестер.

Дружили двадцать лет они,
До первых до седин,
И песни нравились одни,
И разговор один...

Хозяин грустпый гостью рад,
Встречает у ворот:
— Спасибо, брат. Уважил, брат. —
И на крыльцо ведет.

— Перед тобой душой открыт,
Друг первый и свояк:
Весна идет, земля горит, —
Решаться или как?..

А Моргунок ему в ответ:
— Друг первый и свояк!

Не весь в окошке белый свет,
Я полагаю так...

Но тот Никите говорит:
— А как же быть, свояк?
Весна идет, земля горит,
Бросать нельзя никак.

Сидят, как прежде, за столом.
И смолкли. Каждый о своем.

Забились дети по углам.
Хозяйка подает
С пчелиным «хлебом» пополам
В помятых сотах мед.

По чарке выпили. Сидят,
Как год, и два, и три назад.

Сидят невесело вдвоем,
Не поднимают глаз.
— Ну что ж, споем?..
— Давай споем
В последний, может, раз...

Дружили двадцать лет они,
До первых до седин,
И песни нравились одни,
И разговор один.

Посоловелые слегка,
На стол облокотясь,
Сидят, поют два мужика
В последний, значит, раз...

О чем поют? — рука к щеке,
Забылись глубоко.
О Волге ль матушке-реке,
Что где-то далеко?..

О той ли доле бедняка,
Что в рудники вела?..
О той ли жизни, что горька,
А все-таки мила?...

О чем поют, ведя рукой
И не скрывая слез?
О той ли девице, какой
Любить не довелось?..

А может, просто за столом
У свояка в избе
Поет Никита о своем
И плачет о себе.

> У батьки, у матки
> Родился Никита,
> В церковной сторожке
> Крестился Никита.
>
> Семнадцати лет
> Оженился Никита.
> На хутор пошел,
> Отделился Никита.
>
> — В колхоз не желаю, —
> Бодрился Никита.
> До синего дыму
> Напился Никита.
>
> Семейство покинуть
> Решился Никита...
> Куда ж ты поехал,
> Никита, Никита?

ГЛАВА 4

От деда слышал Моргунок —
Назначен срок всему:
Здоровью — срок, удаче — срок,
Богатству и уму.

Бывало, скажет в рифму дед,
Руками разведи:

— Как в двадцать лет
Силенки нет, —
Не будет, и не жди.
— Как в тридцать лет
Рассудка нет, —
Не будет, та́к ходи.
— Как в сорок лет
Зажитка нет, —
Так дальше не гляди...

Сам Моргунок, как все, сперва
Не верил в дедовы слова.

Хватился — где там двадцать лет! —
А богатырской силы нет.
И, может быть, была б она,
Когда б харчи да не война.

Глядит, проходят тридцать лет, —
Ума большого тоже нет.
А был бы ум, так по уму —
Богатство было бы ему.

Глядит, и скоро — сорок лет, —
Богатства нет, зажитка нет:

Чтоб хлебу на год вволю быть,
За сало салу заходить;

Чтоб быть с Бугровым запросто,
Всего того опричь:
«Здоров, Никита Федорыч!..» —
«Здоров, Илья Кузьмич!..»

А угостить, — так дым трубой,
Что хочешь ешь и пей!
Чтоб рядом он сидел с тобой
На лавке на твоей;

Чтоб толковать о том о сем,
Зажмурясь песни петь,
Под ручку чтоб, да с ним вдвоем
Пойти хлеба смотреть...

И предсказанью скоро срок,
А жил негромко Моргунок.

Был Моргунок не так умен,
Не так хитер и смел,
Но полагал, что крепко он
Знал то, чего хотел...

Ведет дорога длинная
Туда, где быть должна
Муравия, старинная
Муравская страна.

И в стороне далекой той —
Знал точно Моргунок —
Стоит на горочке крутой,
Как кустик, хуторок.

Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.

И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.

Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай.

И все твое перед тобой,
Ходи себе, поплевывай.
Колодец твой, и ельник твой,
И шишки все еловые.

Весь год — и летом и зимой,
Ныряют утки в озере.
И никакой, ни боже мой, —
Коммунии, колхозии!..

И всем крестьянским правилам
Муравия верна.
Муравия, Муравия!
Хо-рошая страна!..

И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху — облака.

По склонам шубою взялись
Густые зеленя,
И у березы полный лист
Раскрылся за два дня.

И розоватой пеной сок
Течет со свежих пней.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем поле зеленей.

И день по-летнему горяч,
Конь звякает уздой.
Вдали взлетает грузный грач
Над первой бороздой.

Пласты ложатся поперек
Затравеневших меж.
Земля крошится, как пирог, —
Хоть подбирай и ешь.

И над полями голубой
Весенний пар встает.
И трактор водит за собой
Толпу, как хоровод.

Белеют на поле мешки
С подвезенным зерном.
И старики посевщики
Становятся рядком.

Молитву, речь ли говорят
У поднятой земли.
И во́т, откинувшись назад,
Пошли, пошли, пошли...

За плугом плуг проходит вслед,
Вдоль — из конца в конец.
— Тпру, конь!.. Колхозники ай нет?..
— Колхозники, отец...

Чуть веет вешний ветерок,
Листвою шевеля.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем радостней земля.

Земля!..
От влаги снеговой
Она еще свежа.
Она бродит сама собой
И дышит, как дежа.

Земля!..
Она бежит, бежит
На тыщи верст вперед.
Над нею жаворонок дрожит
И про нее поет.

Земля!
Все краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет, — на ней
До самой смерти жить,

Земля!
На запад, на восток,
На север и на юг...
Припал бы, обнял Моргунок,
Да не хватает рук...

В пути проходит новый день.
Конь перепал и взмок.
Уже ни сел, ни деревень
Не знает Моргунок.

ГЛАВА 5

Большаком, по правой бровке,
Направляясь на восход,
Подпоясанный бечевкой
Шел занятный пешеход.

Добела забиты пылью
Сапожонки на плечах,
И лопатки, точно крылья,
Под подрясником торчат.

Из сапог глядят онучки,
За спиной гремит ларец...
— А, видать, тебя до ручки
Раскулачили, отец?..

Слово за слово. О боге
Речь заводит Моргунок.
Отпрягают у дороги,
Забираются в тенек.

— Эх, да по такой погоде
Зря ты ходишь-бродишь, поп.
Собирал бы дань в приходе,
Пчел глядел бы, сено греб...

— Где ж приход? Приходов нету.
Нету службы, нету треб.
Расползлись попы по свету,
На другой осели хлеб.

Тот на должности на писчей,
Тот иной нашел приют.
Ничего, довольны пищей.
Стихли, сникли и живут.

Ну, а я... Иду дорогой.
Не тяжел привычный труд:
Есть кой-где, что верят в бога, —
Нет попа,
А я и тут.

Там жених с невестой ждут, —
Нет попа,
А я и тут.

Там младенца берегут, —
Нет попа,
А я и тут.

Нет купели,
Есть камья,
Нет попа,
А вот он я!..

Что калужского портного,
За неделю ждут меня.
Мне бы только, право слово,
Заиметь теперь коня...

Хорошо в тени, прохладно.
Поп кошелку шевелит.
Развязал — и этак складно
Припевает-говорит:

— Тут селедочка
Была, была, была,
Что молодочка
Дала, дала, дала...

Тут и соточка
Лежит — не убежит...
Эх ты, сукин сын
Камаринский мужик!..

Моргунок, уставясь косо,
Ладно, думает, молчи.
Ничего, что батя босый, —
Подходящие харчи...

Не святой и не угодник,
Не подвижник, не монах, —
Был он просто поп-отходник,
Яко наг и яко благ.

— На гумне служу обедню,
Постным маслом мажу лоб.
Николай был царь последний,
Митрофан — последний поп.

Занимаю под приходом
Всю епархию кругом.

Хочешь так: твоя — подвода,
Мой — инструмент?..
Проживем!..

Моргунок утерся строго:
— Не гляди, что выпил я...
У тебя своя дорога,
У меня, отец, — своя.

На своем коне с дугой
Ехать подходяще:
Всякий видит, кто такой, —
Житель настоящий.

На своем коне с дугой
Ехать знаменито.
Остановят: — Кто такой?
— Моргунов Никита.

В чужедальней стороне
Едешь, смотришь смело:
Раз ты едешь на коне,
Значит, едешь делом.

Самому себе с конем
Позабыться впору.
Будто в гости едешь — днем,
Ночью — будто в город.

Не охотник яйца я
Собирать на бога.
У меня, отец, своя
Дальняя дорога...

ГЛАВА 6

От ночлега до ночлега
Едет ровно Моргунок.
У дороги, под телегой,
Своя хата-потолок.

На огне трещит валежник
Робко, будто под ногой.
Двое возчиков проезжих
Сонно смотрят на огонь.

С неизвестным разным людом
Сводит ночью огонек.
Кто такие и откуда —
Знать не знает Моргунок.

Спит не спит, лежит Никита,
Слышен скрип и хруст травы.
Глухо тукают копыта
Возле самой головы.

Поправляет головешки
Освещенная рука.
Голос тянется неспешный,
Как шаги издалека:

— Окна — в землю,
Крыша — набок,
Гнезда галочьи в трубе.
Как бы в сказке, дед да баба
Жили век в своей избе.

Баба пряла у окошка,
Дед с утра на рыбу шел,
И была в хозяйстве кошка,
Курочка да петушок.

Жили старые помалу
На отлете от села.
А весною небывало
Высока вода была.

Шла весна в могучей силе,
По ночам крошила снег.
Разлились по всей России
Воды всех морей и рек... —

Спит не спит, лежит Никита,
Дрема поверху идет.
Голос ровный, домовитый
Сказку бережно ведет:

— Все — в колхозы.
Дед — ни с места
На тринадцатом году:
«Из своей избы, известно,
Никуда я не пойду».
Что, мол, жить мне на народе,
И какой мне в этом прок?..

А вода к крыльцу подходит,
Бьет волною о порог.
Поплыли плетни, солома,
Огородов — будто нет.

День за днем проводит дома,
Очищает лыки дед.

И случилась эта сказка
Возле нашего села:
Подняла вода избушку,
Как кораблик, понесла.
Поднимает выше, выше,
Гонит окнами вперед.
Петушок кричит на крыше,
Из трубы дымок идет.
И качаются, как в зыбке,
Дед и баба за стеной.

Принесло избу под липки —
К нам в усадьбу —
Тут и стой...

Спали воды. Стало сухо.
Смотрит дед — на солнце дверь:
«Ну, тому бывать, старуха,
Жить нам заново теперь...»

Спит не спит Никита, дремлет
С картузом под головой.
Теплым телом греет землю
Под примятою травой.

На армяк роса осела.
Гаснут звезды в вышине.
И тепло вздыхает Серый
За кустами в стороне.

Тянет свежестью рассвета.
Спит дорога. Тишина.
Далеко-далеко где-то
Спит Муравская страна...

ГЛАВА 7

Как с юга к северу трава
В кипучий срок весны,
От моря к морю шла молва
По всем краям страны.

Молва растет, что ночь, что день,
Катится в даль и глушь,
И ждут сто тысяч деревень,
Сто миллионов душ.

Нет, никогда, как в этот год,
В тревоге и борьбе,
Не ждал, не думал так народ
О жизни, о себе...

Росла, невнятная сперва,
Неслась, как радио, молва,
Как отголосок по лесам,
Бежала по стране,
Что едет Сталин, едет сам
На вороном коне.

Вдоль синих вод, холмов, полей,
Проселком, большаком,
В шинели, с трубочкой своей,
Он едет прямиком.

В одном краю,
В другом краю
Глядит, с людьми беседует
И пишет в книжечку свою
Подробно все, что следует.
И будто он невдалеке
Коня того поил в реке.

А то еще у старика
Спросил он ночью огонька.
А этот сторож-старичок
Увидел — кто, а сам молчок:
Порасспросить его хотел
Насчет войны и прочих дел...

За гатью — мост,
За взгорьем — склон,
Дымок по ветерку...
И, может, прямо едет он
Навстречу Моргунку.

И все, что на душе берег,
С чем в этот год заснуть не мог,
С чем утром встал и на ночь лег,
С чем ел не впрок
И пил не впрок, —
Все вновь обдумал Моргунок...

— Товарищ Сталин!
Дай ответ,
Чтоб люди зря не спорили:
Конец предвидится ай нет
Всей этой суетории?..

И жизнь — на слом,
И все на слом —
Под корень, подчистую.
А что к хорошему идем,
Так я не протестую.

Ты слушай, выслушай меня,
Коснемся, например, коня.

И склад хорош, и стать легка,
В монету весь одет.
Под Ворошиловым конька
Такого, может, нет.

На конной в Ельне куплен был,
С дороги перепал,
Стоит — и шею опустил, —
Ну, думаю, попал!..

Блестит в корытечке вода,
Свищу, свищу — не пьет,
Не ест. И вижу я тогда,
Что дело не поет...

А как я вышел поутру,
С постели — босиком,
Иду, а он впотьмах: хруп-хруп...
Стой, думаю, живем!..

Теперь мне тридцать восемь лет,
Два года впереди.
А в сорок лет — зажитка нет,
Так дальше не гляди.

И при хозяйстве, как сейчас,
Да при коне —
Своим двором пожить хоть раз
Хотелось мне.

Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.

Пожить бы так чуть-чуть...
А там —
В колхоз приду,
Подписку дам!

И с тем согласен я сполна,
Что будет жизнь отличная.
И у меня к тебе одна
Имелась просьба личная.

Вот я, Никита Моргунок,
Прошу, товарищ Сталин,
Чтоб и меня и хуторок
Покамест что... оставить.

И объявить: мол, так и так,—
Чтоб зря не обижали, —
Оставлен, мол, такой чудак
Один во всей державе...

В пути, в незнаемом краю,
Забыв про все, Никита
Слагал, как песню, речь свою
Душевно и открыто...

Страна родная велика.
Весна! Великий год!..
И надо всей страной — рука,
Зовущая вперед.

ГЛАВА 8

И деревням и верстам счет
Оставил человек,
И конь покорно воду пьет
Из неизвестных рек.

Дорога тянется вдали.
И грусть теснит в груди:
Как много неба и земли
Осталось позади.

И весь в пыли, как хлеб в золе,
Никита Моргунок.
На всей планете, на Земле,
Один такой ездок.

И порыжел на нем пиджак, —
Дорога далека.
Днем едет, терпит кое-как,
А к вечеру — тоска.

Сквозь тишину и холодок
Повеет ночь жильем.
И куст — он дома, и пенек
На месте на своем.

А ты скитайся, разъезжай,
Сам при себе, один...
Вдруг слышит:
— Добрый гражданин,
А, добрый гражданин!..

И видит: нищий, чуть прикрыт,
Почти что босиком.

— Подвез бы, что ли, — говорит
Обиженным баском.

И мальчик, точно со слепым,
Идет по праву руку с ним.

И нищий злобно смотрит вслед:
— Забогател, сосед?..
Глядит — и обмер Моргунок:
— Илья Кузьмич? Ай нет?..

— Годов полсотни был Илья,
Да нынче стал не я.
Что видишь, только ма́лец мой,
А шапка не моя.
Вот брат. Такая, брат, пора.
Кромешный год такой...

— Тпру!.. Правду говорят, гора
Не сходится с горой...

Коня стреножил Моргунок,
Прибрал хомут, дугу.
Оглобли — кверху. Огонек
Заговорил в кругу.

— Эх, холодна небось земля,
Погреться будет впрок. —
И достает из кошеля
Литровку Моргунок.

— Ну что ж, Илья Кузьмич, начнем?
Что есть. Прошу простить.
Тебя когда-то за столом
Мечтал я угостить.

Пей, грейся, гость. Как другу верь, —
Соседи были все ж...
А вот откуда ж ты теперь,
Илья Кузьмич, бредешь?..

— Бреду *оттуда*...
— Что ж там? Как?

— Да так. Хороший край.
В лесу, в снегу, стоит барак,
Ложись и помирай.

— Тэк, так, Илья Кузьмич...
А все ж —
Тут злость своя нужна:
Что скажут — делай, — дескать, врешь,
Работа не страшна.

— Нет, брат, спасибо за совет.
Не страшен был бы труд,
Да смысла нет.
— А ты начни!
— Да мочи нет...
— А ты тяни!
— Да руки не берут.

Никита слушал и коня
Из вида не терял.
Мальчишка, млея у огня,
Тихонько засыпал.

Куда он, малец, гол и бос,
Шел по свету с отцом,
Суму на перевязи нес
С жестяным котелком?..

— А что, — пожал отец плечом, —
Не страшно до зимы.
Где так попросим, где споем, —
Петь научились мы.

Эх, брат, — вздохнул, ложась, Бугров, —
В последний этот год
Еще б таких наделать дров, —
Земли переворот!..

На колокольни встать бы, брат,
И сверху б — в добрый час —
На всю Россию бить набат!
— Да не во что как раз...

Спал Моргунок и знал во сне,
Что рядом спит сосед.
И, как сквозь воду, в стороне
Конь будто ржал под свет...

Вскочил, закоченелый весь,
Глядит — пропал сосед.
Телега здесь, и мальчик здесь.
А конь?.. Коня — и нет...

Никита бросился в кусты,
Высматривая след.
Туда-сюда. И след простыл.
Коня и вправду нет.

И место видно у огня,
Где ночью спал сосед,
В траве окурки. А коня
И нет. И вовсе нет.

И заняла дыханье боль,
И точно высох рот.
Позвать попробовал:
— Псель-псель... —
И губ не соберет.

— Псель-псель... —
И тишина кругом.
Туман. Глухой рассвет...
Вот бросил он семью и дом,
Уехал в белый свет.

Вот все, что думал, — все не в счет.
Вот прожил столько лет...

Туман встает,
Роса ползет.
День. А коня-то нет...
Коня-то нет...
— Вставай, пострел!
Замерз небось, беглец.
Пока ты спал да сны смотрел,
Сменял тебя отец.

Сменял — и серого коня
С уздечкой получил.
Тебя обидел, а меня
Навеки научил.
Я угощал его, любя,
Считал — в беде сосед...
А ты не бойся: бить тебя
Теперь мне пользы нет...

Короток день, а путь далек,
А солнце — где уже!..
Переобулся Моргунок,
И легче па душе.
Собрал шлею, кошель и кнут,
Переменил чеку;
Колеса смазал, подоткнул
Поклажу к передку.

Короток день, а путь далек,
Хоть воз не так тяжел.
И влез в оглобли Моргунок,
А мальчик вслед пошел...

ГЛАВА 9

Под уклон, гремя с разбега,
Едет — просто чудеса! —
Без коня сама телега,
Все четыре колеса.

И, кого ни встретит, всякий
Долго-долго смотрит вслед.
А увяжутся собаки —
Три версты отбою нет.

Моргунок гремит с телегой
В неизвестной стороне:
— Не видали ль человека
На копейчатом коне?

Моргунок волочит ноги
Тяжело, и, как назло,
Растянулось вдоль дороги
Бесконечное село.

Никуда от глаз не скрыться,
На виду мужик у всех.
По окошкам липнут лица.
Лай собачий, — смех и грех.

Моргунок везет понуро,
Не ворочаться ж назад.
Шум, смятенье, даже куры
Растревоженно кричат.

Дальше — к мосту — скат крутой,
Поскорей бы с глаз долой!
И пошел, пошел с разбега,

Только грохот поднялся.
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса.

За мостом дорога в гору,
Позади, в пыли густой:
— Стой! — кричат, как будто вору. —
Стой! Стой!..

Подбегают:
— Стой-ка, дед!
Заворачивай в Совет.

И народ кругом посыпал,
Рассуждая горячо:
— Мало, что ли, всяких типов,
Поглядишь, а тут еще...

— На поселке нищий в бане
Двое суток ночевал:
С золотыми был зубами —
Вроде бывший генерал...

И, упершись в грядки, миром
Помогают Моргунку.
— Только ты не бегай, милый...
— Да куда я побегу?..

В сельсовете председатель
Предложил на лавку сесть
И сказал учтиво:
— Дайте
Документы, если есть.

Из-за ворота рубахи
Тащит целый узелок,
Достает свои бумаги
Никита Моргунок.

Бумаги пожелтелые,
Как деньги — еле целые,
Зацапанные, мазаные,
Крест-накрест перевязанные,

— Вот при одной коровке
Семья моя — семь душ.
И хлебозаготовки,
И лесозаготовки,
И страх,
И труд,
И гуж.
И двор со всей скотиной,
И хата в три окна.
Единый —
Семь с полтиной, —
Уплаченный сполна.

Деревня Васильково,
Касплянский сельсовет,
И карточка конева,
А вот коня — и нет...

— Ну что ж, понятно в целом,
Одно неясно мне:
Без никакого дела
Ты ездишь по стране.
Вот, брат! — И председатель
Потер в раздумье нос:
— Ну, был бы ты писатель,
Тогда другой вопрос.
Езжай! И в самом деле,
Чего с тебя возьмешь?
— А что ж, у вас — артели?
— Кругом артели. Сплошь.

И гремит телега снова,
Застилая пылью след...

— Не видали ль верхового?.. —
Отвечают:
— Что-то нет...

Моргунок телегу тянет.
Плечи стертые горят...
— Братцы! Где тут есть цыгане?
— Вон, в колхозе, — говорят.

ГЛАВА 10

Знал Никита Моргунок
Правило простое,
Что медведь блинов не пек,
Волк двора не строил.

Удивился Моргунок,
Видит: на поляне
Ходят вдоль и поперек
С косами цыгане.

Косят, словно мужики,
Ряд за рядом ходят.
Только носят оселки
Не по форме вроде.

Пахнет медом и росой,
Добрая работа!
Самому пройти с косой
Моргунку охота.

Хороша, густа трава,
Самый срок и время,
Да забита голова
Думами не теми.

Так и так. Иду полдня.
Карточка в кармане...
— Воротите мне коня,
Граждане цыгане.

— Так и быть, — сказал один,—
Ты — мужик хороший.
Заявляю — отдадим,
Как признаешь лошадь.

Сено свежее пока
На покосе вянет,
На конюшню Моргунка
Привели цыгане.

Попросили Моргунка
Чуть посторониться, —
Конь выходит из станка,
Гладкий, точно птица.

Конь невиданной красы,
Уши ходят, как часы.

Конь хорош, и, что хорош,
Сам об этом знает.
— Ну, хозяин, признаешь?
Признавай, хозяин!

Попросили Моргунка
Постоять снаружи.
И выходит из станка
Конь второй — не хуже.

На спине играет дрожь,
Шея — вырезная.
— Ну, хозяин, признаешь?
Признавай, хозяин!

Попросили Моргунка
Отойти немного.
И выводят из станка
Жеребца, как бога.

Корпус, ноги — все отдай.
Шерсть блестит сквозная.
— Ну, хозяин, признавай,
Признавай, хозяин!

— Извиняюсь, не могу, —
Врать, мол, нет расчета.
— То-то, — пальцем Моргунку
Погрозили, — то-то...

Он оглобли подвязал
Кверху, для ночлега:
— Завтра, малец, на базар
За конем. С телегой.

— Дядь, зовут нас. Слышишь, дядь?
Дескать, места хватит.
— Не желаю ночевать
Я в цыганской хате.

Ночь. Затих в загоне скот.
Пахнет пыль золою.
И цыганское встает
Солнце над землею.

И звенит во тьме комар
Тоненько, знакомо,
Как остывший самовар
После бани, дома.

И, вздохнув, на правый бок
Повернулся Моргунок.

Но не спится Моргунку
И на правом на боку.

Комариный звон в тиши,
Замирая, тонет...
«До чего же хороши,
Боже ты мой, кони!»

И, вздохнув, на левый бок
Повернулся Моргунок.

Но не спится Моргунку
И на левом на боку.

И, подумав, Моргунок
Бородою к звездам лег.

Кони рядом. И спроста
Ненадежно спрятаны:
Из соломы ворота
Лыком запечатаны.

Моргунок лежит, сопя,
Рассуждает про себя:
— Лошадей цыгане крали?
— Крали.
— Испокон веков у всех?
— У всех.
— А у них теперь нельзя ли?
У цыган? Не грех?
— Не грех...

Не лежится на спине,
Точно спит на бороне.
Встал и бережно пошел
За сарай. До ветру, мол...

Слышит — близко за спиной
Осторожный шорох.
— Что за люди? Кто такой? —
Спрашивает сторож.

— Я до ветру, — как урок,
Отвечал Никита.
И для виду все, что мог,
Справил деловито.

— Значит, ходишь по часам?
— Надо, милый, надо...

— Эхе-хе-хе-хе!.. — А сам —
Задом,
        задом,
                задом...

Сапоги надел скорей,
Хоть на босу ногу,
И с телегою своей
Тронулся в дорогу...

ГЛАВА 11

Большаком три ночи и три дня
Ехала телега без коня.

И шутил невесело мужик,
Что к коневой должности привык.

— Подучусь, как день еще пройду,
Все, что надо, делать на ходу.

А овсом питаться — не беда:
Попадала в хлеб и лебеда.

Стоя спать — уменья мало здесь.
Приходилось спать — и лапти плесть!

В неизвестный город большаком
Шла телега вслед за мужиком...

От куста идут и до куста,
От моста до нового моста.

От пятьсот девятого столба
До пятьсот десятого столба.

Далека родная сторона!
Что там баба делает одна?..

Ждет она хозяина с конем,
Знать она не знает ни о чем,
Как идет с телегой Моргунок
По одной из тысячи дорог...

Вышел в поле тракторный отряд,
По путям грохочет скорый поезд,
Самолеты по небу летят,
Ледоколы огибают полюс...

И, по-конски терпелив и строг,
Волокет телегу Моргунок.

Мальчик — ни на шаг от мужика...
Пусть идет — дорога широка.

Так идут, идут и слышат вдруг
Впереди, вдали копытный стук,
Будто в ступе коноплю толкут,
Будто бабы где-то кросна бьют.

Отголосок стороной идет,
И ездок покажется вот-вот...

Гоп-та-тах!.. — И перед Моргунком
На коне,
На сером,
Поп верхом!..

Поп назад откинулся, сдержал,
Конь узнал хозяина, заржал.

Но в одну минуту Моргунок
Из оглобель выскочить не мог.
Он ремни распутывал, а поп —
Повернул коня и дал в галоп.

То ли поп коня того купил,
То ли вор у вора утащил...

— Стой!.. — бежит Никита за конем,
Сапоги, пиджак горят на нем.

Сбилась шапка мокрая на лоб,
Вверх и вниз в глазах ныряет поп.

— Стой!.. — кричит, бежит Никита вслед.
Голосу в груди и духу нет.

Он бежит, и замирает «сто-й!»
На дороге пыльной и пустой.

И, как рану, зажимая бок,
Падает на землю Моргунок.

Он лежит, как мертвый, недвижим,
Но земля сама бежит под ним.

Обернулись реки и мосты,
Вверх ногами — травы и кусты.

Но уже далече скачет поп,
Пропадает за холмами топ.

Тише, тише движется земля,
По местам становятся поля...

И лежит Никита Моргунок
На одной из тысячи дорог...

Пыль по-над дорогой незаметнее,
Вечер начинается вдали.
И березы старые, столетние
Опустили ветви до земли.
Тишина хорошая кругом...

— Дядь, вставай,
А, дядь?..
Вставай. Пойдем...

ГЛАВА 12

Деловито, не сердито
Меж палаток, меж подвод
Пробирается Никита:
— Дайте, граждане, проход.

И, встречая, обступая,
Любопытствует народ:
То ль коня он покупает,
То ль телегу продает?

— Погодите, не толкуйте,
Братцы, горе у меня:
На базар служитель культа
Моего угнал коня...

К конной привязи, в тенек
Заезжает Моргунок.

И пошел бродить на счастье
По базару взад-вперед.
Что ни лошадь серой масти, —
Сердце дрогнет и замрет.

Много серых и красивых,
Только равных нет коней:
То подсеченная грива,
То монета покрупней...

На лотках блестят селедки,
Солнце жарит пирожки.
Старичок с лихой бородкой
Кнутовьем звонит в горшки:

— Николаевская глина,
Отдаю за просто так:
С одноличницы — полтина,
С коммунарки — четвертак!

Площадь залита народом,
Площадь ходит хороводом,
Площадь до краев полна,
Площадь пляшет, как волна.

— Расступись, давай проход, —
Жеребца артель ведет.
Как на выставке — проводят,
Уходи, живые, прочь!
Двое виснут на поводьях,
Трое ладятся помочь.

Мундштуки в горячем мыле,
Благородный карий глаз...
— Кто купил?
— Мы купили.
— Сколько дали?
— Хватит с нас.

Гомонит, гудит базар,
Девки, бабы — по возам.

Подбирают кони сено,
Шевелят сухой овес;
И шумит парная пена,
Остывая у колес.

В сюртуке старик усатый
За рога ведет козу.
Жарко дышат поросята
В тесной клетке на возу.

И идет от воза к возу,
Не смолкает говор, гам.
Пахнет сеном и навозом,
С «центроспиртом» пополам.

От жары укрыт, от пыли,
У ограды нищий ряд.

Тут остатние слепые
И убогие сидят.

Песня слышится сквозь гомон,
Оборвется — и опять...
Голос будто бы знакомый,
Только слов не разобрать.

Подошел, с другими рядом
Стал и видит Моргунок:
Грузный нищий — у ограды,
Шапка с медью — между ног.

Поводырь с восковым личиком
Сидит плечо к плечу:
— ...Отвечает эта птичка:
«Жить я в клетке не хочу.
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу...»

У певца глаза закрыты,
Голос набожно-суров.
Ахнул, чуть не сел Никита:
— Сукин сын! Илья Бугров!

И, точно сами, две руки
Вперед рванулись:
— Стой!.. —
И раскатились пятаки,
Гремя по мостовой.

И Моргунок, как мех сопя,
Подмял слепого под себя.
Народ бежит со всех сторон:
— Слепого бьют... Разбой!..
— Да как же, братцы, — зрячий он.
— Ей-богу, был слепой.

Бугров, карабкаясь, хрипит:
— Пусти!.. Пусти меня.
Пусти, сосед. Скажу, Никит,
Чего-то про коня...

— Скажи, — нагнулся Моргунок, —
Скажи, пока не бью.
— Пусти, Никит... Скорей!.. Свисток!..
Обоих — в Гепею.

— Скажи — пущу.
— Скажу потом.
— Давай сейчас, злодей!
— Скажу. В сторонку отойдем,
Чтоб без чужих людей.

Не дома, в праздничный денек
На хуторе своем,
Идет под ручку Моргунок
С Ильею Кузьмичом.

Ведет Бугрова Моргунок:
— Дорогу дай, народ. —
Ведет, и шапку, как залог,
Слепецкую несет.

Идут, шатаясь, вразнобой,
Пьяны средь бела дня.
Грозит им пальцем постовой:
— Глядите у меня!..

И говорит Илья Бугров
Тихонько Моргунку:
— Чудак ты, конь твой жив-здоров,
Поклясться в том могу.

И вдруг, не ахнул Моргунок.
— Стой! — закричал Бугров
И сквозь толпу рванулся вбок:
— Стой! Стой! Держи воров!..

— Стой!
— Братцы, братцы! — вскрикнул вслед
И всхлипнул Моргунок.
И ни коня, ни вора нет, —
В руках один залог.

Туда-сюда. Базар кругом,
Колышется народ.
Уже о чем-то о другом
Толкует и орет.

— Ну что ж... Спасибо, сукин сын:
Последний дал урок. —
И шмякнул шапку что есть сил
Никита Моргунок.

ГЛАВА 13

Вдоль дороги рожь бежала,
Над дорогой пыль дрожала,
Плыл дымок...
Ехал парень моложавый,
Кучерявый паренек.

Кучерявый паренек,
На затылке козырек.

Ехал парень хватом,
Девкам песни вез,
В елку след печатал
Шпорами колес.

Получил на курсах трактор
Кучерявый паренек,
Изучил *четыре такта,*
Заводить и править мог.

И смешно, да не до смеха,
Хорошо, да сам не рад,
Посадили — и поехал:
— Крой до места, трогай, брат.
Бога нету, говорят.

Не ломай деревья,
Не ворочай пни,
По пути в деревне
Угол не сверни.

Все в порядке. Едет парень.
За верстой идет верста,

Проезжает без аварий
Две деревни, три моста.

Руль одной рукою
Держит, как шофер.
Едет — что такое?
Смотрит — что за черт!

На припеке у дороги
Под телегой спит мужик.
Рядом мальчик босоногий
Кверху пятками лежит.

Слева, справа — нелюдимо,
Луговеет рыжий пар...
Проезжает парень мимо:
— Эй ты, дед, коня проспал!..

Спохватился Моргунок:
— А?.. Давно проспал, сынок.

И лежит он под телегой,
Как лежал.
Дескать, крой, а нам не к спеху,
Не пожар.

— Извиняюсь, бога нет.
Кто такой, откуда, дед?..

— Так и так. Длинна дорога.
Вот как выбился из сил...

— Ладно, дед. Нету бога,
Прицепляйся на буксир.

— Я не прочь, пожалуй,
Но одна статья:
За телегу, малый,
Опасаюсь я...

— Отговариваться нечем,
Делай, дед. Решен вопрос...
За телегу сам отвечу, —
Своя кузня, свой колхоз.

Прицепились, едут.
Хороши дела.
И телега следом
Здорово пошла.

Едут, едут, едут,
Дым да стук кругом.
Едет парень с дедом,
Правит прямиком.

Руль одной рукою
Держит, как шофер.
Едет — что такое?
Слышит — что за черт?..

Слышит перебои,
Непохожий стук.
Трактор сам собою
Тормозится вдруг.

Парню до смерти неловко.
Эх ты, черт ее дери!
— Извиняюсь, остановка! —
Зайчик выскочил внутри...

Пот на лбу открытом
Выступил. Беда!
— Та-ак, — сказал Никита. —
Добрая езда...

Достает инстру́мент парень,
Сам заходит стороной,
Боязливо приступает,
Точно к лошади дурной.

Лезет парень под машину,
Об дорогу чешет спину,
Рукавом стирает пот,
В кепку болтики кладет.

Глубоко синеет небо,
Золотой стоит денек.
Двадцать лет монтером не был
Кучерявый паренек.

Не был батька, не был дед,
Не был прадед, бога нет!..

Бога нету, — несомненно:
Лет пяток —
Недолгий срок.
Будет летчиком отменным
Этот самый паренек.

Головным в могучей стае
Будет править на восток.
Высоко летать он станет,
Кучерявый паренек!

Кучерявый паренек,
Желтой кожи козырек!..

Ты забудешь ли, товарищ,
Наш любимец и герой,
Как лежал ты на дороге,
На дороге под горой.

Как кругом, шумя хлебами,
Длился день страды большой,
И кряхтел мужик тоскливо,
Ожидая над душой.

Мужику — оно не к спеху.
Он бы плюнул и повез
На себе свою телегу
И тащил бы тыщу верст.

Он бы вез ее дорогой,
Проклиная белый свет...

— Ну-ка, дед. Крутни немного.
Ну-ка, разом, бога нет!..

— Дай-ка, — плюнул в руку,
Взялся Моргунок.
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка,
Ну, еще разок!..

Отскочил Никита, —
Задрожал мотор,
Нехотя, сердито
Тронулся, попер.

По мостам грохочет,
Правит паренек,
Придержать не хочет,
Сбавить хоть чуто́к.

Кроет по увалам,
Только пыль хвостом...
— Малый, эй ты, малый,
Придержи, постой!

— Три версты осталось, дед.
— Дальше ехать мочи нет.
За провоз тебе спасибо.
Посоветуй лучше мне,
Где б конька какого-либо
Взять по сходственной цене?

Повернувшись на сиденье,
Смотрит тот на Моргунка:
— Нет, в колхозе и за деньги
Не купить тебе конька.

То ли делом, то ли смехом
Рассуждает паренек:
— Ну, прощай. Пора, брат, ехать.
Кто куда, а я — на ток...

Лошадь, не иначе,
В Островах найдешь.
Правда, кони — клячи,
Ну, да кони все ж...

Крой по ме́жам, это близко,
Дуй пешком, тебе видней.
Сдай телегу под расписку —
Довезу. И ма́льца с ней.

Ну, пока! Не опоздать бы...
Погоди, постой ты, дед:
Жду тебя к себе на свадьбу,
Приглашаю, бога нет!..

ГЛАВА 14

Вразброс под солнцем, как дрова,
Лежит селенье Острова.

Ни крыши целой, ни избы,
Что угол — то дыра.
И ровным счетом — три трубы
На тридцать три двора.

Встает, медлителен и глух,
Нерадостный рассвет.
На все село один петух —
И тот преклонных лет.

Поет, как вздумает певень, —
Ослабла голова.
Который час, который день,
Не знают Острова.

Который век, который год
Течет речушка Царь!
На колокольне в косу бьет
К обедне пономарь.

Кругом шумят моря хлебов,
Поля большой страны.
Худые крыши Островов
За ними чуть видны.

Солома преет у ворот.
Повалены плетни.
И курит попусту народ
На бревнышках в тени.

Строгает что-то ножиком,
Как бубен, лысый дед.
Скоблит...
— Бог помощь, граждане,
Колхозники ай нет?..

И отвечают медленно,
Недружно мужики.
Один:
— Мы — люди темные...
Другой:
— Мы индюки...

И подхватила женщина,
Припав к щеке рукой:
— Индусы называемся,
Индусы, дорогой...

— Выходит, бесколхозные, —
Вздохнул с усмешкой дед. —
Сошлись жуки навозные,
Гудят, а кучи нет...
Косить еще успеется,
На все у бога дни...

— Ты что строгаешь?
— Дудочки.
— А для чего они?...

— А дам по дудке каждому,
И дело как-никак.
— А не кулак ты, дедушка?
— А как же не кулак!

Богатством я, брат, славился
В деревне испокон:
Скота голов четыреста
И кнут пяти сажен.

Я гостем в каждой был избе,—
Где ужин — там ночлег.
Коня?.. Чего?.. Коня тебе?
Чудак ты, человек!..

Вот все хозяева сидят.
Продай, коня, сосед...

— Продать, — оно не штука, брат,
Да вот коня-то нет.

— А хоть и есть, — вздохнул другой, —
Да конь-то больно дорогой,—
За грудь, за складку вдоль спины,
За вороную масть
Полжизни плачено. Цены
Такой никто не даст.

— А я как раз продать бы мог,
Да баба встанет поперек.
Что со слезами, что без слез
Толкует об одном:
Идти по крайности в колхоз,
Так со своим конем.

— Слыхал? — толкает Моргунка
Старик тихонько в бок. —
Эх, уступлю уж я конька,
Тому и быть, сынок.
Идем...

Старик заторопил
И Моргунка провел
В худой, без сошек и стропил,
С собачью будку, двор.

Там конь, не вскинув головы,
Стоял, как на мели.
И был он бел до синевы
И слеп, хоть глаз коли.

Толкает дед его рукой,
Глядит со стороны:
— Эх, конь! Царевой масти конь!
Ему, брат, нет цены.

И сам носился петушком:
— А? Что? Плохой конек?..
— Нет, лучше век ходить пешком,

— Ну, сам гляди, сынок.
Таков и конь, каков купец.
Соседи, чем не конь?

— Понятно, конь. Не жеребец.
— Ну, что там! Конь — огонь!..
Как побежит — земля дрожит,
Как упадет — три дня лежит,
И ни вожжа тогда, ни кнут
Ему не вставят ног...

— Да, вот как люди здесь живут, —
Причмокнул Моргунок.

— Сынок! Ты вот чего скажи, —
Опять пустился дед. —
А чем плохая наша жизнь?
По-моему — лучше нет.

Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.

И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел — покашивай.
Поехал — поезжай...

— Живете не богато вы, —
Смутился Моргунок.
— А счастье не в богачестве.
Зачем оно, сынок?

Нам бы хлебушка кусок,
Да водицы голоток,
Да изба с потолком,
Да старуха под боком.

— Верно.
— Правильно.
— Привычка...
Вот прохожий баял тож:
Отчего ты, дескать, птичка,
Хлебных зерен не клюешь?

В том как раз и закавычка —
От природы людям зло.
Отвсчает будто птичка:
Жить, мол, в клетке тяжело.

— Кабы больше было воли,
Хочешь — здесь ты, хочешь — там...
— Кабы жалованье, что ли,
Положили мужикам.

— Кабы нам душа одна бы...
— Кабы жить нам не вразлад...
— Кабы если бы пе бабы,
Бабы слушать не хотят!..

— Ты про баб молчи, пустыня,
Сами скажем про свое.
Вот хожу с грудьми пустыми
За хорошее житье.

У людей, людей — пшеничка
Наклонилась по ветру.
А у не́людей солома
Раскидалась по двору.

У людей, людей — ребятки
День гуляют на площадке,
За столом за общим в ряд,
Как горлачики, сидят.

А мои живут на свете
Хуже сивых поросят.
Невиновны мои дети —
Ихний батька виноват!

Погляжу на ту картипу,
Как сидишь ты депь-деньской,
Плюну, кину-запокину,
Убегу — и черт с тобой!..

Глядит, растерян и смущен,
Никита Моргупок.

Что скажет он?
Что понял он
За долгий путь и срок?..

— Ну вот, — снял шапку Моргунок, —
Понятно — жесткий год.
Все, братцы, вдоль и поперек,
Крест-накрест все идет.

И ваша жизнь — не жизнь, друзья,
Одна тоска и боль.
Гляжу на вас: так жить нельзя.
Решаться надо, что ль...

А что касается меня,
Возьмите то в расчет:
Поскольку я лишен коня,—
Ни взад мне, ни вперед.

Осиротил меня злодей,
Под самый корень ссек.
А конь был — нет таких коней!
Не конь, а человек.

Бывало, корочку из рук,
Как со стола, возьмет.
В ночном — чуть что — затихнет вдруг,
Как спросит: кто идет?

Прилечь на землю не могу.
Ни сна, ни дремы мне.
Вот будто ходит по лугу,
Ступает в стороне.

Как будто слышу стук копыт,
Вздыхает конь живой.
Трава росяная скрипит,
И пахнет той травой...

И стихли все... И Моргунок
Вдруг смолк понуро сам,
И смятой шапкой проволок
Неспешно по глазам...

Молчит на бревнышках народ,
Все сказаны слова.
Берет старик две дудки в рот,
Чуть набок голова.

Поймали пальцы нужный лад,
И тонкий звук потек:
«Пойду, пойду в зеленый сад,
Сорву я орешок».

Поет старик об орешке,
Играет оберучь.
Висит на ветхом пояске
Мужицкий медный ключ.

Ползет рубаха с плеч долой,
На ней заплатки сплошь.
А в песне — «парень удалой,
Куда меня ведешь!..»

Ту песню про зеленый сад,
Про желтый орешок
Слыхал лет двадцать пять назад
От деда Моргунок.

— Ну, что ж, пора. Сижу я тут
Без барышей полдня.
А там телега и хомут
И сбруя у меня.

ГЛАВА 15

Из всех излюбленных работ
Любил Никита обмолот.
И где и кто молотит, — мог
Узнать по стуку Моргунок.

У богачей да у попов
Ходили в дюжину цепов.
И все цепы колотят в лад
И соблюдают счет.
И на току — что полк солдат
Под музыку пройдет.

А сам Никита Моргунок
Вдвоем с женой ходил на ток.

До ночи хлеб свой выбивал
Не разгибая рук.
И, как калека, колдыбал
Хромой унылый стук.

Но любо было Моргунку,
Повесив теплый цеп,
Сидеть и веять на току
Набитый за день хлеб.

Кидай по горсточке одной
Навстречу ветерку,
И полумесяц золотой
Ложится на току.

Кидал бы так за возом воз
До нового утра,
И полумесяц все бы рос
И рос бы, как гора...

По стуку трактора на ток
Пришел Никита Моргунок.

Дрожит под пятками земля,
Стук, ветер, вой и свист,
И наклонился у руля
Тот самый тракторист.

А пыль, а дым несет в глаза,
И все зашлось в ушах.
Ни поздороваться нельзя,
Ни подойти на шаг.

Легка солома, колос чист,
Зерно шумит, как град.
— Снимай пиджак да становись,
Чего стесняться, брат!..

— А, дай! — Разделся Моргунок,
Рогатки в руки взял,
Покрылся ношей, поволок,
Знай наших! — доказал.

— Да я ж!.. Да господи спаси,
Да боже сохрани!..
Скажи — коси, скажи — носи,
Скажи — ворочай пни!..
Да я ж не лодырь, не злодей,
Да я ж не хуже всех людей.

Как хватит, хватит Моргунок,
Как навернет рогатками...
Сопит, хрипит, до нитки взмок,
Колотье под лопатками.

Солома — валом. Спасу нет.
Но вскоре из ворот
Мужчина Моргунковых лет
На выручку идет.

Тверд на ногах, что в землю врыт,
По голосу — добряк.
«А ты вот этак, говорит,
Ты, говорит, вот так!..»

И, ношу взяв с бобыльский воз,
Оп! — смотрит Моргунок —
Подсел, не крякнул и понес.
Раз! — и взмахнул на стог.

И, отряхнув с накидки ость,
Радушно говорит:
— Пойдем-ка мы отсюда, гость,
Охота покурить.

— А председатель как у вас,
Позволит он уйти?..
— А председатель я как раз,
Со мной, брат, не шути.

Держи табак. Бери, бери,
Верти своей рукой.
Устал, брат?.. Ну-ка, говори,
Откуда, кто такой?..
Издалека?
— Издалека.
От Ельни...
— В добрый час.

Сидят в тени два мужика,
Толкуют в первый раз.

Развеял ветер и унес
Махорочный дымок...
— Ну что ж, взгляни на наш колхоз,
Товарищ Моргунок.

Все разом показать готов,
Усадьба велика.
Ведет Андрей Ильич Фролов
Под ручку Моргунка.

Ведет, ведет на новый двор,—
Он светел и смолист.
И бревна старые в забор
Меж новых улеглись.

В загон к скоту идет Фролов
С Никитою вдвоем

И гладит, хвалит всех коров,
Как на дворе своем.

Любую ногу подает
Ему в конюшне конь.
Теленок зеркальце сует
В хозяйскую ладонь.

Идут вперед, идут назад,
И видит Моргунок:
Взбегает малолетний сад
Рядами на припек.

Вдоль по усадьбе до ворот
Проходит гость, глядит.
Кол вбит, — попробует, качнет:
Всерьез ли в землю вбит.

Но все — не в шутку, все — всерьез.
Для жизни — в самый прок.
Один-единственный вопрос
Имеет Моргунок:

— Я полагаю, спору нет,
Вам все ж видней, партейному:
Скажите мне, на сколько лет
Такая жизнь затеяна?..

— А вот, товарищ Моргунок,
Ударят на обед,
Прикину, подведу итог —
И дам тебе ответ.

А заодно теперь позволь
Позвать тебя на хлеб да соль.

ГЛАВА 16

— Мой дед родной — Мирон Фролов —
Нас, молодых, бодрей.
Шестнадцать пережил попов
И четырех царей.

Мы, как подлесок, все под ним
Росли один перед другим.

И, приподнявшись от земли,
Все кланялись ему.
И шли в заводы, в шахты шли,
В солдаты и в тюрьму.

Шли, заполняли белый свет —
Жить не при чем в семье.
Брели, — и где нас только нет,
Фроловых, на земле!

Живут в Москве, и под Москвой,
В Сибири от годов.
Есть машинист, есть летчик свой,
Профессор есть Фролов.

Есть агроном, есть командир,
Писатель даже есть один.

И все — один перед другим, —
Хоть на меня смотри,
Росли под дедом под своим,
В него — богатыри.

Шесть ран принес с гражданской я,
Шесть дырок, друг родной.
Когда б силенка не моя, —
Хватило бы одной.

По всем законам — инвалид,
Не плуг бы мне — костыль...
А после здесь уж был я бит,
Добро, что богатырь.

Делил луга, взимал налог
И землю нарезал.
И свято линию берег,
Что Ленин указал.

Записки мне тогда под дверь
Подсовывал Грачев:
«Земли себе сажень отмерь
И доски заготовь».

Фроловы были силачи,
Грачевы были богачи.

Грачевы — в лавку торговать,
Фроловы — сваи загонять.

Грачевы — сало под замок,
Фроловы — зубы на полок.

Мой враг до гроба и палач,
Вот в этот день и час,
Где ты на свете, Степка Грач,
И весь твой подлый класс?!

И в смертный срок мой воспомню я,
Как к милости твоей
Просить ходила мать моя
Картошек для детей;

Как побирушкой робко шла
По дворне по твоей,
Полкан Иванычем звала
Собаку у дверей...

Да я и не про то теперь...
За землю мстил Грачев.
Земли, так и писал, отмерь
И доски заготовь.

Подстерегли меня они
В ночь под успеньев день —
Грачевы, целый взвод родни
Из разных деревень.

Жилье далеко в стороне,
Ночь, ветки — по глазам.
И только палочка при мне, —
Для сына вырезал.

И первый крикнул Степка Грач:
— Стой тут. И — руки вверх!
Не лезь в карман, не будь горяч, —
Засох твой револьвер.

Сдавай бумаги, говорят,
Давай, отчитывайся, брат!

Стою. А все они с дубьем,
Я против банды слаб.
Ну, шли б втроем, ну, вчетвером,
Ну, впятером хотя б...

Лощинка, лес стоит немой,
Тишь-тишина вокруг.
Кричать? — Кричать характер мой
Не позволяет, друг.

А тени сходятся тесней,
Минута настает.
И тех, которые пьяней,
Пускают наперед.

Троих я сбил. А сзади — раз!
И полетел картуз...
И только помню, как сейчас,
За голову держусь.

Лежу лицом в сырой траве,
И звон далекий в голове.

И Грач толкает сыновей:
— Скорей! Грех, господи... Скорей!..

Да помню, точно сквозь туман,
Прощался я: «Сынок!..
Прости, что палочку сломал,
Подарок не сберег.

Прощай, сынок. Расти большой.
Живи, сынок, учись,
И стой, родной, как батька твой,
За нашу власть и жизнь!..»

Потом с полночи до утра
Я полз домой, как мог.
От той лощинки до двора
Кровавый след волок.

К крыльцу отцовскому приполз,
И не забуду я,
Как старый наш фроловский пес
Залаял на меня!

Хочу позвать: «Валет! Валет!..»
Не слушается рот.
...Ты говоришь, на сколько лет
Такая жизнь пойдет?..

Так вот даю тебе ответ
Открытый и сердечный:
Сначала только на пять лет.
— А там?..
— А там — на десять лет.
— А там?..
— А там — на двадцать лет.
— А там?..
— А там — навечно.
— И это твердо, значит?
— Да.
— Навечно, значит?
— Навсегда!..

Эх, друг родной, сказать любя,
Без толку носит черт тебя!..

Да я б на месте на твоем,
Товарищ Моргунок, —
Да отпусти меня райком —
Я б целый свет прошел пешком,
По всей Европе прямиком,
Прополз бы я, проник тайком,
Без тропок и дорог.
И правду всю рабочий класс
С моих узнал бы слов:

Какая жизнь теперь у нас,
Как я живу, Фролов.
И где б не мог сказать речей,
Я стал бы песню петь:
«Душите, братья, палачей,
Довольно вам терпеть!».

И шел бы я, и делал я
Великие дела.
И эта проповедь моя
Людей бы в бой вела.
И если будет суждено
На баррикадах пасть,
В какой земле — мне все равно, —
За нашу б только власть.

И где б я, мертвый, ни лежал,
Товарищ Моргунок,
Родному сыну завещал:
Иди вперед, сынок.

Иди, сынок. Расти большой.
Живи, сынок, учись.
И стой, родной, как батька твой,
За нашу власть и жизнь!

ГЛАВА 17

Ходит сторож, носит грозно
Дулом книзу ружьецо.
Ночью на земле колхозной
Сторож — главное лицо.

Осторожно, однотонно
У столба отбил часы.
Ночь давно. Армяк суконный
Тяжелеет от росы.

И по звездам знает сторож, —
По приметам, как всегда, —
Тень двойная станет скоро
Проходить туда-сюда.

Молодым — любовь да счастье,
На поре невеста дочь.
По двору Васек и Настя
Провожаются всю ночь.

Проведет он до порога:
— Ну, прощай, стучись домой.
— Нет, и я тебя немного
Провожу, хороший мой.

И доводит до окошка:
— Ну, прощай, хороший мой.
— Дай же я тебя немножко
Провожу теперь домой.

Дело близится к рассвету,
Ночь свежеет — не беда!
— Дай же я тебя за это...
— Дай же я тебя тогда...

Под мостом курлычет речка,
Днем неслышная совсем.
На остывшее крылечко
Отдохнуть старик присел.

Свесил голову, как птица,
Ружьецо стоит у ног.

— Что-то, брат, и мне не спится.—
Смотрит сторож — Моргунок.
— Ну, садись. А мне привычно.
Тем и должность хороша, —
Обо всем на белом свете
Можно думать не спеша:

О земле, о бывшем боге,
О скитаниях людей,
О твоей хотя б дороге,
О Муравии твоей.

Люди, люди, человеки,
Сколько с вами маяты!
Вот и в нашей был деревне
Дед один, такой, как ты.

Посох вырезал дубовый,
Сто рублей в пиджак зашил.
В лавру, в Киев снарядился:
— Поклонюсь, покамест жив.

И стыдили, и грозили...
«Все стерплю, терпел Исус.
Может, я один в России
Верен богу остаюсь».

«Ладно. Шествуй-путешествуй, —
Говорит ему Фролов, —
А вернешься жив-здоров,
Все как есть расскажешь честно
Про святых и про попов».

И пошел паломник в лавру.
Пешим верстам долог счет.

Мы вот здесь сидим с тобою,
Говорим, а он идет...

А дорог на свете много,
Пролегли и впрямь и вкось.
Много ходит по дорогам —
И один другому рознь.

По весне в газете было, —
Может, сам слыхал о том, —
Как идет к границе нашей
Человек один пешком.

Он идет, работы нету,
Без куска его семья.
На войне он окалечен,
Оконтужен, как вот я.

По лесам идет, по тропам,
По долинам древних рек.
Через всю идет Европу,
Как из плена человек.

Он идет. Поля пустые.
Редко где дымит завод.
Мы вот здесь сидим с тобою,
Говорим, а он идет...

Слухам верить не пристало,
Но и слух не всякий зрящ.
Говорят, домой с канала
Волокется Степка Грач.

Он идет и тешит злобу,
Знает, с кем свести расчет,
Днями спит, идет ночами.
Вот сидим, а он идет...

А смотри-ка, друг прохожий!..
— Вижу, — вздрогнул Моргунок.
На звезду меж звезд похожий,
Плыл на запад огонек.

С ровным рокотом над ними,
Забирая ввысь, вперед,
Над дорогами земными
Правил в небе самолет.

— Высоко идет, красиво,
Хорошо, хоть песню пой!
Это тоже, братец, сила,
Тоже сторож наш ночной.

Он встает. Светло и строго
Утомленное лицо.
Где-то близко у калитки
Тихо звякнуло кольцо.

И бредет гармонь куда-то.
Только слышится едва:
«В саду мята,
Да не примята,
Да неподкошенная
Трава...»

ГЛАВА 18

Стоят столы кленовые.
Хозяйка, нагружай!
Поспела свадьба новая
Под новый урожай.

Поспела свадьба новая
Под пироги подовые,
Под свежую баранину,
Под пиво на меду,
Под золотую, раннюю
Антоновку в саду.

И над крыльцом невестиным,
Как первомайский знак,
Тревожно и торжественно
Похлопывает флаг.

Притихшая, усталая,
Заголосила старая.
Заголосила, вспомнила
Девичество бездомное,
Колечко обручальное,
Замужество печальное.

— Лети, лети, ластынька,
Лети за моря.
Прости-прощай, Настенька,
Дочушка моя.

Лети, сиротливая,
В чужие края.
Живи, будь счастливая,
Кровинка моя.

Надень бело платьице,
Пройдись по избе.
А что же да не плачется,
Не горько тебе?

Поплачь, поплачь, Настенька,
Дочушка моя.
Лети, лети, ластынька,
Лети за моря.

Гармонь, гармонь, бубенчики.
— Тпру, кони! Стой, постой!..
Идет жених застенчивый
Через девичий строй.

— Эх, Настя, нас обидела,
Кого взяла — не видела:
Общипанного малого,
Кривого, куцепалого.

А что ж тебя заставило
Выйти замуж за старого,
За старого, отсталого,
Худого, полинялого?

У твоего миленочка
Худая кобыленочка.
Он не доехал до горы,
Ее заели комары.

Дверь — настежь. Гости — на порог,
Гармонь. И кто-то враз
В сенях рассыпал, как горох,
Поспешный, дробный пляс.

И вот за стол кленовый
Идут, идут Фроловы.

Идут, идут — брат в брата,
Грудь в грудь, плечо в плечо.

Седьмой, восьмой, девятый,
А там еще! Еще!..

Стоят середь избы —
Богатыри.
Дубы!

И — даром, что ли, славятся —
Идут, красой грозя,
Ударницы-красавицы —
Жестокие глаза.

А впереди — затейная
Аксюта Тимофеевна:
— Где стала я, где села я —
Со мной бригада целая.

Три раза премированный,
Идет Фролов Иван —
Лошадник патентованный,
До свадьбы чутку пьян.

Идет торжествен и суров,
Как в светлый день одет,
Ста восемнадцати годов,
Мирон Васильевич Фролов —
Белоголовый дед.

На свадьбу гостем приглашен,
Где правнуки сидят.
Сам в первый раз женился он
Сто лет тому назад.

И вот встает Андрей Фролов:
— Деды, позвольте пару слов.

Деды! В своей усадьбе
И на своей земле,
Когда, на чьей мы свадьбе
Гуляли здесь в селе?

Не в сытости, не в холе мы
Росли, и, как везде,
Шли замуж поневоле мы,
Женились — по нужде.

Деды! Своею властью
Мы здесь, семьею всей,
Справляем наше счастье
На свадьбе на своей.

За пару новобрачную,
За их любовь удачную,
За радость нашу пьем.
За то, что по-хорошему,
По-новому живем!

И свадьба дружно встала,
Сам сторож речь ведет:

— За молодых и старых,
За весь честной народ!
За дочь мою, за Настю,
И за дружка ее!
За их совет, за счастье,
За доброе житье!

А также выпить следует
За нас, за стариков,
И пусть вином заведует
Андрей Ильич Фролов.

Пускай проводит линию
Он с толком и душой:
Партейным льет по маленькой,
А нам уж — по большой.

И, видно, в меру каждому
Та линия была, —
Заговорили граждане
Про всякие дела.

— С тобой, Василий Федорыч,
Кому косить пришлось, —
Одно, Василий Федорыч:
Дух вон и лапти врозь.

С тобой, Василий Федорыч,
Запросит пить любой.

А я, Василий Федорыч,
Я ж рядом шел с тобой.

— Чистов, Прокофий Павлович,
Бобыльский бывший сын,
Не жук тебе на палочке,
А честный гражданин!

— А я стою на страже
Колхозного житья.
Кто скажет, кто докажет,
Что слабый сторож я?

А сын, читали сами,
На той границе он.
Оружьем и часами
За подвиг награжден.

Живу, горжусь сынами,
Тобой горжусь, зятек...
Постойте, пьет ли с нами
Товарищ Моргунок?..

Встает Никита над столом
И утирает бороду.
Один поклон.
Другой поклон —
На ту, на эту сторону.

— Раз надо, не стою:
Пью. Откровенно пью!..

— Пей, друг, и ешь досыта,
С людьми гуляй и пей!

— Да я ж, — кричит Никита, —
Не хуже всех людей!

— Гуляй с душой открытой,
Как гость среди гостей.

— Но конь, — кричит Никита, —
Эх, нет таких коней!

— Забудь, живи счастливо,
Не хуже кони есть!..

— Горек хлеб! Горько пиво!
Нельзя пить, нельзя есть.

— Горек мед! — кричат вокруг.
— Горько все! — деды решили.

Гармонист ударил вдруг...
— Дайте круг!
— Шире круг!
— Расступитесь!
— Шире!
Шире!

— Эх, дай на свободе
Разойтись сгоряча!..

Гармонист гармонь разводит
От плеча и до плеча.

Паренек чечетку точит,
Ходит задом наперед,
То присядет,
То подскочит,
То ладонью, между прочим,
По подметке
Попадет.
И поднесет ладонь к груди:
— Ходи, ходи!
Ходи, ходи!
Не скрывайся в хороводе,
Выходи —
И я с тобой!..

Гармонист ведет-выводит,
Помогает головой.

Выходит девочка бедовая,
Раздайся, хоровод!
Платье беленькое, новое
В два пальчика берет.

— Меня высватать хотели,
Не сумели убедить.
Не охота из артели
Даже замуж выходить.

А ты кто такой, молодчик? —
Я спрошу молодчика.—
Ты молодчик, да не летчик,
А мне надо летчика.

У колодца
Вода льется,
Подается по трубе.
Хорошо тебе живется,
Мне не хуже, чем тебе.

— Раздайся, хоровод:
Тимофеевна идет.

— Кому девки надоели,
Тот старуху подберет.

— Ничего про вас худого,
Девочки, не думала.
Отбить парня молодого
Одного надумала.

Эх, думала,
Подумала,
Веселые дела.
Дунула,
Плюнула,
Другого завела.

Бабий век —
Сорок лет.
Шестьдесят
Износу нет.
Если смерти не случится,
Проживу еще сто лет.

Эх, кума,
кума,
кума,
Я сама себе — сама.
Я сама себе обновку
Праздничную справила.
Я за двадцать лет коровку
На дворе поставила.

Дед стар,
стар,
стар,—
Заплетаться стал.
Никуда он не годится:
Целоваться перестал.

Проведу его, злодея,
Накажу кудлатого:
Восьмерых сынов имею,
Закажу девятого.

— Раздайся, хоровод:
Моргунок плясать идет.
Он сам идти не хочет,
Бабка за полу ведет.

Бабка задом отступает,
Заводило знак дает.
Батька сына вызывает,
Выступает наперед.

Вышли биться
Насовсем.
Батьке — тридцать,
Сыну — семь.

Батька — щелком,
Батька дробью,
Батька с вывертом пошел,
Сын за батькой исподлобья
Наблюдает, как большой.

Батька кругом,
Сын волчком,
Не уступает нипочем.

А батька — рядом,
Сын вокруг,
И не дается на испуг.

А батька — этак,
Сын вот так,
И не отходит ни на шаг.

И оба пляшут от души,
И оба вместе хороши,
И оба — в шутку и всерьез,
И оба дороги до слез.

И расстаются, как друзья...
Ах, надо б лучше, да нельзя!..

И вот еще не стихнул пол
Под крепкой дробью ног,—
То ль нищий, то ли гость взошел
Тихонько на порог.

На нем поповский балахон
Подрезан и подшит.
Зовет хозяйку в сени он,
Хлопочет и спешит.

Толкуют гости: кто такой?
Портной ли, коновал?..

У палисада серый конь
На привязи стоял.

Идет к гостям старуха мать,
Не поднимает глаз:

— Проезжий батюшка. Венчать
Согласен хоть сейчас.

Подсела робко к старику:
— Ругать повремени.
На яйца, говорит, могу,
Могу — на трудодни.

И вдруг без шапки на порог
Метнулся Моргунок.

С крыльца на двор простукал вниз.
Бегом, как из огня...
И, повод оборвав, повис
На шее у коня.

ГЛАВА 19

От стороны, что всех родней,
За тридевять земель,
Знакомым скрипом вдруг о ней
Напомнит журавель.

Листвой и яблоками сад
Повеет на заре,
И петухи проголосят,
Как дома на дворе.

И свет такой, и дым такой,
И запахи родны,
Лишь солнце будто бы с другой
Восходит стороны...

И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон,
И сверху — облака.

Поют над полем провода,
И впереди — вдали —
Встают большие города,
Как в море корабли.

Поют над полем провода,
Понуро конь идет.
Растут хлеба. Бредут стада.
В степи дымит завод.

— Что, конь, не малый мы с тобой
По свету дали крюк?..
По той, а может, не по той
Дороге едем, друг?..

Не видно — близко ль, далеко ль,
Куда держать, чудак?
Не знаю, конь. Гадаю, конь.
Кидаю так и так...

Посмотришь там, посмотришь тут,
Что хочешь — выбирай:
Где люди веселей живут,
Тот вроде лучше край...

Кладет Никита на ладонь
Всю жизнь, тоску и боль...

— Не знаю, конь. Гадаю, конь.
И нам решаться, что ль?..
За днем — в пути — проходит ночь,
Проходит день второй...

И вот на третий день точь-в-точь
В лощинке под горой

Глядит и видит в стороне
Никита Моргунок:
Сидит старик на белом пне
С котомкою у ног.

У старика суровый вид,
Почтенные лета,
Дубовый посох шляпкой сбит,
Как ручка долота.

Сидит старик, глядит молчком...
Занятно Моргунку:
— На лавру, что ли, прямиком
Стучишь по холодку?

И дед неспешно отвечал,
На разговор тяжел:
— Как раз на лавру путь держал,
Однако не дошел.

— Тпру, конь!.. Да как случилось, дед,
Что ты бредешь назад? —
А пеший конному в ответ:
— Не то бывает, брат.

Сквозь города, сквозь села шел,
Упрям, дебел и стар,
Один, остатний богомол,
Ходок к святым местам.

И вот в пути, в дороге дед
Был помыслом смущен:
— Что ж бог! Его не то чтоб нет,
Да не у власти он.

— А не слыхал ли, старина,
Скажи ты к слову мне,
Скажи, Муравская страна
В которой стороне?..

И отвечает богомол:
— Ишь, ты шутить мастак.
Страны Муравской нету, мол.
— Как так?
— А просто так.

Была Муравская страна,
И нету таковой.
Пропала, заросла она
Травою-муравой.

В один конец,
В другой конец
Открытый путь пролег...

— Так, говоришь, в колхоз, отец? —
Вдруг молвил Моргунок.

— По мне — верней;
Тебе — видней:
По воле действуй по своей...

— Нет, что уж думать,— говорит
Печально Моргунок.—
Все сроки вышли. Конь подбит...
Не пустят на порог.

Объехал, скажут, полстраны,
К готовому пришел...
— Для интересу взять должны,—
Толкует богомол.

— А что ты думаешь, родной! —
Повеселел ездок.—
Ну, посмеются надо мной,
А смех — он людям впрок.

Зато мне все теперь видней
На тыщи верст кругом.
Одно вот — уйму трудодней
Проездил я с конем...

— Прощай пока! — поднялся дед.—
Спешу и я, сынок...

И долго, долго смотрит вслед
Никита Моргунок.

1934—1936

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

* * *

Течет вода в сине море —
Назад не вернется.
Ищет казак свое счастье —
Счастье не дается.
Пошел казак в свет широкий —
Море бьет о берег.
Сердце верит в свое счастье —
А дума не верит:
«Куда шел, пути не зная?
На кого покинул
Отца с матерью родимой
И свою дивчину?
На чужбине встретят люди
Чужие сурово.
Не с кем будет ни поплакать,
Ни промолвить слова».
Сидит казак на чужбине,
Шумит сине море.
Думал: счастье повстречает,
А встретилось горе.
Журавли вдали курлычут,
Летят над водою.
Казак плачет — все дороги
Заросли травою...

[*Петербург, 1838*]

ДУМКА

Тяжко, тяжко жить на свете
Сироте без роду:
От тоски-печали горькой
Хоть с моста — да в воду!
Утопился б — надоело
По людям скитаться;
Жить нелюбо, неприютно,
Некуда деваться.
Чья-то доля ходит полем,
Колосья сбирает;
А моя-то, знать, за морем
Без пути блуждает.
Все богатого встречают,
Кланяясь поспешно,
А меня в лицо не знают,
Словно я не здешний.
Ведь богатый, хоть горбатый,—
Девушка приветит,
На мою ж любовь насмешкой
Свысока ответит.
«Иль тебе на нравлюсь — силой,
Красой не удался?
Иль тебя любил не крепко,
Над тобой смеялся?
Люби, люби кого хочешь,
Может, я не стою,
Но не смейся надо мною,
Как вспомнишь порою.
Я покину край родимый —
Свет просторен белый.
Найду счастье — либо сгину,
Как лист пожелтелый».
И ушел казак далеко,

Ни с кем не прощался,
Искал доли в чужом поле,
Да там и остался.
Умирал — смотрел, как солнце
За морем садится...
Тяжко, тяжко на чужбине
С жизнью распроститься!

Гатчина
2 ноября 1838 года

ТОПОЛЬ

Ходит ветер по дубраве,
По полю гуляет,
У дороги тонкий тополь
До земли сгибает.
Гнется тополь одинокий,
Клонится покорно;
Кругом поле, точно море —
Широко, просторно.
То чумак пройдет дорогой,
Невесело глянет;
То присядет со свирелью
Пастух на кургане,
Поглядит — сожмется сердце:
Кругом — ни былинки!
Только тополь одинокий
Никнет сиротинкой.

Кто ж растил его средь поля,
Вдалеке от хаты?
Погодите, по порядку
Расскажу, дивчата!

Полюбила молодая
Казака дивчина,
Полюбила — проводила;
Он ушел да сгинул...
Кабы знала, что покинет,
Лучше б не любила;
Кабы ведала, что сгинет,
Лучше б не пустила.
Кабы знала — не ходила
Поздно за водою,
Не стояла б с ним до почи

Под старой лозою.
Кабы знала!..
Да не радость
Знать про все, дивчата,
Что нас ждет на белом свете,
Что придет когда-то...
Не гадайте вы про долю!..
Кто любый, кто милый,
Сердце знает — верьте сердцу
До самой могилы.
Потому — не на век очи
Карие, большие,
И в лице румянец смуглый
Не на век, родные!
Срок придет — глаза потухнут,
Брови полиняют...
Пока любите — любите,
Сердце лучше знает.

Защебечет соловейко
В лесу на калине,
Запоет казак тихонько
В широкой долине.
Черноброкая услышит,
Выбежит, бывало.
Спросит он ее тревожно:
«Мать не обижала?..»
Сядут рядом, станут слушать
Посвист соловьиный;
Обоймутся, разойдутся,
Друг друга покинут...
И никто того не знает,
Даже мать родная,
Где гуляла-пропадала —
Сама только знает...
Так любилась, миловалась,
А сердце робело.
Сердце слышало недолю,
Сказать не умело...
И осталася дивчина —
Одна-одинока.
День и ночь воркуй, голубка,
А голубь далеко!..

Не щебечет соловейко
В кустах над водою,
Не поет дивчина песен
Под старой лозою.
Сиротою в белом свете
Грустить она будет.
Без милого мать да батько —
Что чужие люди.
Без милого солнце светит
Не мило — постыло.
Без милого день — потемки,
Белый свет — могила...

Год проходит, два проходит, —
Казак пропадает.
Как цветок, дивчина вянет,
Мать про то не знает.
Не спросила: «Что с тобою,
Что за горе лихо?..»
За богатого, седого
Просватала тихо.
«Иди, дочка! Вековухой
Сидеть некрасиво.
Будешь жить за одиноким
Богато, счастливо».—
«Не хочу я жить богато,
Не пойду я, мама,
На беленых полотенцах
Спусти меня в яму.
Пусть качает надо мною
Поп своим кадилом.
Лучше мне землей укрыться,
Чем жить за постылым».
Мать не слушала родная,
Делала, что знала.
Слов не тратила дивчина,
Сохла да молчала.
В ночь глухую собралася
К ворожее старой.
«Долго ль жить мне, одинокой,
На свете осталось?
Скажи, бабушка, голубка,—
Старуху просила.—

Скажи правду, коли знаешь,—
Скажи, где мой милый?
Жив-здоров ли? Любит, нет ли?
Иль забыл, покинул?
Скажи правду — может, встретил
Другую дивчину?
Изойду я вся слезами
От горя лихого...
Выдает меня родная
Замуж за седого.
Я любить его не стану,
Голубка, бабуся,
Я пошла бы, утопилась,
Да греха боюся.
Коли помер чернобровый,
Сделай так со мною,
Чтобы мне в родную хату
Не ступить ногою.
Ждет богатый со сватами,—
Тоска меня душит...» —
«Ладно,— молвит ворожея,—
Теперь меня слушай!
Сама была молодая,
Сама горе знаю.
Ворожить я научилась,
Другим помогаю.
Твою долю и недолю
Я заране знала.
Для тебя уже давно я
Зелье припасала...»
Поискала ворожея
Что-то за божницей.
«На, дивчина, с этим зельем
Пойди до криницы.
Петухи пока не пели,
Умойся водою.
Выпей малость. Горе злое
Снимет, как рукою.
А как выпьешь — без оглядки
Беги, что есть силы.
До того беги до места,
Где с милым простилась.
Отдохни там. А как в небе

Встанет месяц новый —
Выпей зелья. Не явится —
Надо выпить снова.
С первым разом все худое
Будет точно смыто.
Со вторым — в степи услышишь:
Стукнет конь копытом.
Коли жив казак пропавший —
Рядом очутится.
С третьим разом что случится —
Гадать не годится.
Что услышишь — не крестися,—
Все пойдет впустую...
Ну, иди же, насмотрися
На радость былую».

Поклонилася дивчина:
«Спасибо, бабуся!»
Вышла в поле. «Домой, что ли?..
Нет, уж не вернуся».
Зелья в первый раз хлебнула —
Тихо улыбнулась,
Второй, третий раз хлебнула —
И не оглянулась.
Полетела, как на крыльях,
Среди степи пала...
Пала, встала, заплакала,
Песню запевала:

«Плавай, плавай, белый лебедь,
Плавай в синем море!
Расти, расти, тонкий тополь,
Один в чистом поле!
Расти, гибкий, поднимайся
До тучи высокой,
Спроси бога, ожидать ли
Желанного срока?
Расти, расти выше тучи,
Погляди за море:
Там за морем — моя доля,
А тут — мое горе.
Там казак мой чернобровый
Живет, припевая,

А я плачу, годы трачу,
Томлюсь молодая.
Скажи ему, скажи, сердце,
Что смеются люди,
Что погибну я, дивчина,
Коли он забудет!
Скажи, мать меня родная,
Жалеючи, губит...
А кто ж ее, как помру я,
Вспомнит, приголубит?
Кто присмотрит, кто расспросит,
В старости поможет?
Мать родная!.. Доля злая...
Боже ты мой, боже!..

Глянь за море, тонкий тополь,
А увидишь — нету,
Ты заплачь тогда тихонько
Ранепько до свету...
Расти ж выше, тонкий тополь,
Один в чистом поле!
Плавай, плавай, белый лебедь,
Плавай в синем море!»

Так вот пела молодая,
Выкликала, билась
И на диво среди поля
В тополь обратилась.

Ей домой уж не вернуться,
Друга потеряла,
Стала тонкой и высокой,
До тучи достала.

Ходит ветер по дубраве,
По полю гуляет.
У дороги тонкий тополь
До земли сгибает.

1839
С.-Петербург

* * *

Думы мои, думы мои,
Не житье мне с вами!
Что вы встали на странице
Грустными рядами?
Что вас ветер не развеял
В степи на просторе?
Что вас ночью, темной ночью
Не сгубило горе?

Видно, горем на́смех рождены вы были;
Слезы вас поили — лучше б затопили,
Унесли бы в море, в широкое поле,—
Не стали бы люди спрашивать-пытать:
Чем я недоволен? Чем я тяжко болен?
Что кляну я долю? «От безделья, знать...» —
Смеясь, не сказали б...
Цветы мои, дети!..
Зачем я растил вас, зачем вас берег?
Заплачет ли сердце одно на всем свете,
Как я с вами плакал, один-одинок?

Может быть, найдется сердце
Девичье да очи,
Что заплачут над моими
Думами средь ночи.
Мне б одну слезу такую —
И пан над панами!
Думы мои, думы мои,
Тяжело мне с вами!

Об очах девичьих карих,
О бровях высоких
Сердце пело, как умело,
В стороне далекой.
О ночах весенних темных,

О садах вишневых,
О девичьих нежных ласках
Находило слово.
Но про степи да курганы,
Что на Украине,
Не хотело мое сердце
Запеть на чужбине.
Не хотело в лес, в сугробы,
Ради горькой встречи,
Собирать казачье братство
Запорожской Сечи.
Пусть над милой степью души
Казачьи витают.
Там лежит земля родная —
От края до края.
Там, как воля, что минулась,—
Синий Днепр широкий.
Там ревут, ревут доныне
Седые пороги.
Там гуляла, гарцевала
Казацкая воля,
Польской шляхтой, татарвою
Засевала поле,
Поливала вражьей кровью
Да, видать, остыла.
Прилегла. Минули годы.
Выросла могила.
И орел над нею черный
Сторожем летает.
А про волю добрым людям
Кобзарь напевает.
Кобзари-слепцы о славе
Поют о казачьей,
А я плакать лишь умею,
А я только плачу.
Только плачу об Украйне,
Будто бессловесный,
Петь про горе неохота —
Всем оно известно...
А тому, кто к добрым людям
Подойдет с душою,
Тому ад на этом свете,
А на том... Тоскою

Не заманишь к себе долю,
Добрую удачу,
Лучше ж я свои напасти
От людей запрячу.
Затаю тоску под сердцем,
Не дам горю воли,
Чтоб враги мои не знали
И глаз не кололи.
Пускай дума, точно ворон,
Каркает, летает,—
Соловьем щебечет сердце,
Тихонько рыдает.
Скрытно — люди не увидят
И не посмеются.
И не нужно утешенья —
Пускай слезы льются.
Землю черствую чужую
Пускай они мочат.
Срок придет — попы засыплют
Чужим песком очи.
Вот и ладно. А что делать?
Тоска не поможет.
А кому глядеть завидно —
Карай того, боже.

Думы мои, думы мои,
Родимые дети!
Сам растил вас, а не знаю,
Куда деть на свете.
Вдоль дороги сиротами
В нашу Украину
Пробирайтесь. Я останусь,
На чужбине сгину.
Там найдете, мои дети,
Привет нелукавый,
Там скорей найдете правду,
А может, и славу!

Привечай же, мать родная,
Моя Украина,
Моих деток неразумных,
Как родного сына!

Петербург, 1839

Н. МАРКЕВИЧУ

Бандурист, орел могучий,
Орел сизокрылый,
Полетишь куда захочешь:
Крылья есть и сила.

Полетишь на Украину,
Всяк тебя приветит.
Полетел бы я с тобою —
Да кто меня встретит?

Сирота я, всем далекий,
Живу на чужбине.
На чужбине — одинокий
И на Украине.

Что же сердце бьется, рвется,
Покоя не знает?
Одинокий... А Украйна?
А земля родная...

Там в степи гуляет буйный
Ветер на просторе,
Там в широком поле — воля,
Там — синее море.

Море плещется, играет
Далеко, далече.
А в степи курганы с ветром
Ведут свои речи.

Говор смутный, говор грустный,—
Приговор суровый:
«Что бывало, что минулось —
Не вернется снова».

Полетел бы я, послушал,
Поплакал бы с ними,
Да судьбина жить велела
Меж людьми чужими.

С.-Петербург. 9 мая 1840 года

ИЗ ПОЭМЫ «ГАЙДАМАКИ»

ВСТУПЛЕНИЕ

Василию Ивановичу Григоровичу
в память 22 апреля 1838 года

Все в мире проходит. Живет — умирает...
Куда ж оно делось? Откуда взялось?
Ни глупый, ни мудрый про это не знает.
Извечно ведется: одно зацвело —
Другое увяло, навеки увяло...
И ветры сухую листву разнесли.
А солнце встает, как и прежде вставало,
И звезды плывут, как и прежде плыли
И плыть всегда будут; и ты, белолицый,
По синему небу ты будешь гулять
И будешь смотреться в болотце, в криницу,
В бескрайнее море —и будешь сиять,
Как над Вавилоном, над его садами
И над тем, что будет с нашими сынами.
Конца ты не знаешь! Люблю толковать,
Делиться с тобою, как с братом, с сестрою,
И петь тебе песни твои же спроста...
Скажи ты мне ныне: как быть мне с тоскою?
Я не одинокий, я не сирота:
Есть у меня дети, да куда подеть их?
Закопать с собою? Грех: душа жива!
Может быть, ей легче будет на том свете,
Как прочтет кто-либо те слезы-слова,
Что так бескорыстно она изливала
И ночью украдкой над ними рыдала.
Нет, не закопаю. Душа-то жива!
Как синему небу, как белому свету —
Конца либо края душе моей нету.
А где она будет? Чудные слова!
Пускай ее вспомнят хоть на этом свете,—
Бесславному тяжко его покидать.
Дивчата, вам надо ее вспоминать.
Она вас имела всегда на примете

И песни любила про вас напевать.
Пока солнце встанет — отдохните, дети!
Вожака вам, дети, хочу подыскать.

Сыны мои, гайдамаки!
Волен свет широкий.
Погуляйте, поищите
По себе дороги.
Сыны мои молодые,
Несчастные дети,
Кто без матери родимой
Встретит вас на свете?..
Сыны мои, на Украину
Летите орлами.
Пусть хоть горе приключится
Не в чужбине с вами.
Там и ласковую душу
Повстречать не чудо!
Там помогут, там наставят,
А тут... А тут — худо.
Пустят в хату — насмеются,
Дурачком считают.
До того умны-учены —
Солнце осуждают.
Мол, взошло, да не оттуда,
Да не так и село.
Мол, вот так-то лучше было б...
Что тут будешь делать?!
Надо слушать, может, вправду
Не так солнце светит.
Потому — народ ученый:
Знают всё на свете.
А уж вам-то к ним явиться —
Как зовут — не спросят.
Поглядят, поводят носом —
И под лавку бросят.
Дескать, ладно, подождите,
Найдется писака:
Он по-нашему расскажет
И про гайдамаков,
А то вышел дурачина
С мертвыми словами
Да какого-то Ярему

Ведет перед нами.
Неуч, неуч, дурачина!
Видно, били мало.
От казачества — курганы
(Что еще осталось?),
Да и те давно разрыты,
Ветер пыль разносит.
А он думал, слушать станем,
Как слепцы гундосят.
Понапрасну ты старался,
Человек хороший.
Хочешь славы, денег хочешь —
Так пой про Матрешу,
Про Парашу — радость нашу,
Султан, паркет, шпоры.
Вот где слава! А то тянешь —
Шумит сине море...
А сам плачешь. Да с тобою
Весь твой люд сермяжный...
Вот спасибо умным людям,
Рассудили важно!
Только жаль, что кожух теплый —
На другого шитый.
Очень умны ваши речи,
Да брехней подбиты.
Не прогневайтесь, а слушать
Я вас не желаю.
Вы разумны, а я глупый...
И я вас не знаю.
Я один в родимой хате
Запою украдкой,
Запою про то, что любо,
И заплачу сладко.
Запою — играет море,
Ветер в поле ходит,
Степь темнеет, и курганы
С ветром речь заводят.
Вот раскрылись, развернулись
Курганы глухие.
И покрыли степь до моря
Казаки лихие.
Атаманы с бунчуками
Войско озирают.

Пляшут кони. А пороги
Ревут, завывают.
Ревут, стонут, негодуя,
Сурово бушуют.
«Чем вы, батьки, недовольны?» —
У старых спрошу я.
И ответят мне седые:
«Молчи, сиротина.
Днепр сердитый негодует,
Плачет Украина...»
И я плачу. А тем часом
В жупанах богатых
Идут, идут атаманы
С гетманами в хату.
Входят разом в мою хату
Ради доброй встречи
И со мной про Украину
Начинают речи.
Рассуждают, вспоминают,
Как Сечь собирали,
Как через пороги к морю
Лихо проплывали.
Как гуляли в Черном море,
Грелися в Скутари,
Как закуривали люльки
В Польше на пожаре,
Как в отчизну возвращались,
Как они гуляли.
«Жарь, кобзарик, лей, шинкарик!» —
Бывало, кричали.
Шинкарь мечется, летает,
Шинкарь так и вьется.
Кобзарь жарит, а казаки —
Аж Хортица гнется —
Гопака дают такого,
Метелицу разом.
Кухоль ходит, высыхает —
Не моргнешь и глазом!
«Гуляй, паны, без жупанов,
Гуляй, ветер, в поле!
Жарь, кобзарик, лей, шинкарик,
Пока встанет доля!»
Друг за другом ходят кругом

Парубки с дедами.
«Так-то, хлопцы! Добре, хлопцы!
Будете панами».
Пир горою. А старшины
На совете вроде:
Меж собою речь заводят,
По рядам проходят.
Не стерпели, не сдержали
Лихости казачьей —
Припустили каблуками...
Я смеюсь и плачу.

От радости плачу, что в хате убогой,
Что в мире великом я не одинок.
И в хате убогой, как в степи широкой,
Казаки гуляют, гомонит лесок.
В хате предо мною сине море ходит,
Темнеют курганы и тополь шумит.
Тихо-тихо *Грицю* дивчина заводит.
Я не одинокий, людьми не забыт.
Вот где они, мои деньги,
Вот где моя слава!
А за ваш совет спасибо,
За совет лукавый.
Пока жив, с меня довольно
И мертвого слова,
Чтобы вылить горе, слезы...
Бывайте здоровы!
Пойду сынов-гайдамаков
В путь отправлю снова.
Может быть, найдут какого
Казака седого.
Может, он их встретит лаской,
Теплыми слезами.
И того с меня довольно —
Пан я над панами.

Так-то, сидя в своей хате,
Думаю в тревоге:
«С кем пойду и кто им будет
Вожаком в дороге?»
На дворе давно светает,
Встали гайдамаки.

Помолились, снарядились
Добрые казаки.
Поклонились, как сироты,
Печально и строго.
«Благослови,— молвят,— батько,
В дальнюю дорогу.
Пожелай нам доброй доли,
Радости на свете».—
«Стойте, хлопцы, свет — не хата,
А вы, точно дети,
Неразумные. Кто будет
Вожаком надежным?
Кто наставит? Тяжело мне,
На душе тревожно.
Сам растил вас, мои дети,
На ноги поставил.
В свет идете, а теперь там
Все книжные стали.
Не судите, что в науках
Помочь не пытался,
Самого учили — били.
Какой был — остался!
Тма, мна знаю, а *оксию*
Не знаю доныне...
Ладно, дети, погодите:
Есть вожак — не кинет.
Есть у меня батько славный
(Родного-то нету!),
У него пойдем попросим
Доброго совета.
Сам он знает, что не сладко
Сироте без роду;
Сам — казак, душа простая,
Казацкого роду,
И простое наше слово
Он любит и знает,
Что певала мать родная,
Сына пеленая.
Не чурался того слова,
Что слепец под тыном
Напевает, пригорюнясь,
Про мать-Украину.
Любит батько песпю-правду

О казацкой славе.
Любит крепко. Идем, хлопцы,
Он нас не оставит.
Кабы он меня не встретил,
То, наверно б, ныне
Я лежал бы под снегами
На дальней чужбине.
Схоронили б меня люди,
Забыли б то место...
Тяжело страдать и гибнуть...
За что — неизвестно.
Но минуло... Чтоб не снилось!
Идемте-ка, дети.
Коли мне не дал погибнуть,
Запропасть на свете,
То и вас любого примет,
Как родного сына.
Там помолимся — и гайда
В путь на Украину!»

Принимай поклон наш, батько!
С твоего порога
Благослови моих деток
В дальнюю дорогу!

1841, 7 апреля
С.-Петербург

СОВА

Родила казачка сына
В зеленой дуброве.
Дала сыну кари очи
Да черные брови.
Укрывала, пеленала,
Всех святых просила,
Счастья вымолить хотела
Для первенца-сына.
Приговаривала тихо:
«Пошли тебе, боже,
Всего, чего мать родная
Дать тебе не может».
До восхода брала воду,
В барвинке купала,
До полночи колыхала,
До утра певала:

«Баюшки-бай,
Спи, засыпай...
Счастье кукушка
Мне предсказала —
Жить мне до сотни
Лет насчитала.
Жить — не журиться,
Ходить в нарядах,
Сына родного
Растить на радость.
Молодец будет
Почище князя,
Выше тополя,
Крепче вяза.
Гибкий, дебёлый,
Добрый, веселый.

Растила недаром —
Найду тебе пару.
Под стать сыночку —
Купецкую дочку.
Впору сыночку —
Сотника дочку.
В черевичках дорогих,
В зеленом жупане
По светлице она ходит,
Как пава, как пани.
Да беседует с тобою;
В хате — рай небесный,
Я смотрю на вас, и сердцу
От радости тесно.

«Ой, сыне, мой сыне,
Ой, кто мне ответит:
Лучше ль есть на Украине,
На всем белом свете!
Не бывало и не будет —
Полюбуйтесь, люди.
Нету лучшего... А долю
Сам себе добудет!..»

Ой, кукушка, ты кукушка,
Зачем куковала,
Жизни сладкой, беспечальной
Сто лет насчитала?
Разве может быть на свете
Послушная доля?
Разве может мать родная
Кликнуть долю с поля,
Милым детям крикнуть счастье,
И талан и волю?
Кликнешь долю, а недоля
Сторожить их будет —
На дороге, без дороги —
Повсюду, где люди.
Любовалась мать родная
Подраставшим сыном.
Той порой отец-кормилец

Белый свет покинул.
Он жену вдовой оставил,
Сына — сиротою.
Нелегко им жить досталось
С горем да с нуждою.
Побрела вдова к соседям,
Жалуется, плачет.
Дали ей совет соседи,
Чтобы шла батрачить.
Порешили и забыли.
Покинула хату.
И пошла за хлеб насущный
Служить у богатых.
Дни и ночи убивалась,
Подати платила.
Убивалась, а сыночку
Жупанок купила.
Чтоб дитя, хотя и вдовье,
В школу все ж ходило.

Ой ты, доля, ты доля,
Ой, житье ты худое,
Ходишь следом за вдовою
Торною тропою.
Ходишь, бродишь да рыщешь,
Как оборванный нищий...
Богачу вода и в гору
Потечет послушно.
А бедняге и в овраге
Рыть колодец нужно.
У богатого ребята
Что твоя картинка,
У вдовы — один мальчонка,
И тот, как былинка...

Но дождалась мать-батрачка,
Вырастила сына.
Ни красою не обижен,
Ни умом, ни силой.
Как у бога за дверями,
Вдова отдыхала.

Сохли первые невесты
По нему, бывало.
Дочь родителей богатых
Ждала втихомолку.
Только зря платок на память
Вышивала шелком.
Пришло горе из-за моря,
Тучи налетели...
Хлопцам-рекрутам колодки
На ноги надели.
Повезли их утром в город
На дрогах скрипучих.
Следом матери, невесты
Шли в слезах горючих.
　　На каждом привале
　　Посты выставляли,
　　Мать-вдову взглянуть на сына
　　Близко не пускали...
Вот доставили к приему,
Донага раздели.
Глядь — хромые да больные
У богатых дети,
Недомерки да калеки,
Ни росту, ни стати,
Тот горбатый, тот женатый,
Тех четверо в хате.
Непригодны — отправляйтесь
Домой на полати.
　　У вдовы один был сын,—
　　Годен! — ровно под аршин.

Вновь пришлось покинуть хату —
Как прожить иначе?
И пошла вдова-старуха
К евреям батрачить.
У крещеных нету места —
Стара, ненадежна.
Уж просила б христа-ради,—
Сунуть корку можно.
Христа-ради... Не дай, боже,
Чтоб тому случиться:

Попросить у богатея
И воды напиться...
На письмишко по копейке
Копила, сбирала,
Написала письмо сыну,
Будто легче стало.
Будто легче... Но проходит
И зима и лето,
Год за годом, пять и десять,—
Нет и нет ответа.
Нет вестей. И снарядилась
Старуха в дорогу,
Злых собак дразнить котомкой,
Одежой убогой.
По селу прошла за выгон —
К полевым воротцам.
День и ночь сидит и смотрит:
Может, сын вернется.
Ждет-пождет. Не слышно сына.
У дороги — глухо.
Похудела, потемнела,
Не узнать старухи.
И кому ее такою
Узнавать неволя?
Так сидит себе, тоскует,
Глаза всем мозолит.
Дни идут, проходят ночи,
Минули все сроки.
Не видать солдата сына,
Пусто на дороге.

Над водою в тихий вечер
Чуть шумит камыш сухой.
Ожидает мать-старуха
Сына к ужину домой.
Над водою в поздний вечер
Ветерок осоку гнет.
В темной роще на свиданье
Казака дивчина ждет...
Над водою ветер веет,
Нагибает лозы.

Мать родная и дивчина
Проливают слезы.
Но поплакала дивчина,
Петь, как прежде, стала,
А поплакала родная —
В голос зарыдала.
И молилась, и рыдала,
Кляла все на свете:
«Горько с вами, тяжко с вами,
Родимые дети!..»

Вдовьи высохшие руки
К небу поднимала.
Злую долю проклинала,
Сына призывала...
То как будто онемеет
В думе безотрадной,
На пустынную дорогу
Смотрит, смотрит жадно.
Вот проезжий, вот прохожий
Держит путь куда-то...
«Не видали... не встречали
Моего солдата?..» —
«Не видали, не слыхали»,—
Отвечают старой.
Уж и спрашивать устала,
Плакать перестала.
Помутился разум с горя,
От лихой кручины.
Подобрала у дороги
С земли кирпичину.
И сидит и напевает,
Как над зыбкой сына:

«Змея хату подпалила,
Детям каши наварила,
Лапти новые сплела,
Малым детям раздала...
Гуси-лебеди летели,

Опустились, посидели,
Полетели через дол.
На кургане — орел...
На кургане среди ночи
Он клюет казачьи очи.
А дивчина молодая
Мила друга ожидает...»

По задворкам спозаранку
Черепки сбирала:
Всё гостинцы да подарки
Сыну запасала.
А в ночи — полуодета,
Страшная, худая,
По селу она ходила,
Что-то напевая...
Люди добрые ворчали —
Спать, мол, не давала,
Мол, крапиву под их тыном
Да бурьян топтала.
Дети глупые гонялись
Следом за вдовою.
И дразнили для потехи
Старую «Совою».

6 мая 1844
С.-Петербург

ЗАВЕЩАНИЕ

Как умру, похороните
На Украйне милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.
И когда с полей Украйны
Кровь врагов постылых
Понесет он... вот тогда я
Встану из могилы —
Подымусь я и достигну
Божьего порога,
Помолюся... А покуда
Я не знаю бога.
Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым, тихим словом.

25 декабря 1845
в Переяславе

N. N.

Тогда мне лет тринадцать было,
За выгоном я пас ягнят.
И то ли солнце так светило,
А может, просто был я рад
Невесть чему. Все походило
На рай небесный...
Уже давно на полдник звали,
А я в бурьяне, в тишине,
Молился богу, и едва ли
Хоть раз еще на свете мпе
Так сладко, радостно молилось,
Так сердце весело цвело,
Казалось, небо и село
И даже стадо веселилось,
И солнце грело — не пекло!
Да не долго солнце в небе
Ласковое было:
Поднялось, побагровело,
Рай мой опалило.
Осмотрелся, как спросонок:
Село почернело,
Божье небо голубое
И то потемнело.
На ягнят я оглянулся —
Не мои ягнята!
Оглянулся я на хату —
Нет у меня хаты!
Ничего господь мне не дал!..
Горький и убогий,
Я заплакал!.. А девушка
Рядом у дороги
Посконь дергала, родная.
Она услыхала,

Увидала, что я плачу,
Пришла, приласкала,
Слезы вытерла ребенку
И поцеловала.
И снова солнце засияло,
И словно все на свете стало·
Моим... дуброва, поле, сад!..
И мы шутя, смеясь погнали
На водопой чужих ягнят.

Пустяк! А вспомню, и сегодня
Тоска наполнит грудь мою,—
Ведь не пришлось в таком раю
Мне жить по милости господней.
Пахал бы я родное поле,
Не слыл юродивым, своей
Не знал бы горемычной доли,
Не проклял бога и людей!..

[*Орская крепость, 1847*]

* * *

Как у той у Катерины —
Мощеная хата.
Приехали запорожцы,
Три друга, три брата:
Один — Семен Бо́сый,
Другой — Иван Голый,
Третий — славный вдовиченко
Иван Ярошенко.
«Изъездили Польшу
И всю Украину,
А такой мы не встречали,
Как ты, Катерина!»

Один молвит: «Други!
Казну бы мне в руки,
Отдал бы я все богатство
Этой чернобровой
За одно лишь слово».

Второй молвит: «Братья!
Кабы сильным стать мне,
То отдал бы я всю силу
Этой чернобровой
За одно лишь слово».

Третий молвит:
«Дети! Нет того на свете,
Чего я не мог бы сделать
Ради этой чернобровой,
За одно лишь слово».

Подумала, отвечает
Ему Катерина:
«Запропал в неволе вражьей

Братец мой единый.
Кто из Крыма, из неволи,
Брата мне достанет,
Тот мне, хлопцы запорожцы,
Милым другом станет».

Разом повставали,
Коней оседлали,
Чтоб скорей вернуть с чужбины
Брата Катерины.
Один утопился
В Днепровском заливе,
Другого в Козлове
На кол посадили,
Третий — славный вдовиченко
Иван Ярошенко —
Из лихой неволи,
Из Бахчисарая,
Брата выручает.

На заре, заре негромко
Постучались в хату.
«Вставай, вставай, Катерина,
Иди встречать брата!»
Посмотрела Катерина
И заголосила:
«То не брат мой — то мой милый!
Всех я одурила».—
«Одурила?!» — И до долу
Девичья скатилась
Головушка. «Идем, друже,
Из поганой хаты».
Поскакали запорожцы,
Два друга, два брата.

Катерину молодую
В поле закопали,
А славные запорожцы
В степи побратались.

[*1848*
Кос-Арал]

* * *

И в самых радостных краях
Не знаю ничего красивей,
Достойней матери счастливой
С ребенком малым на руках.
Бывает иногда: смотрю я,
Любуюсь ею, и печаль
Охватит сердце вдруг; и жаль
Ее мне станет, и, тоскуя,
Пред нею голову склоню я,
Как перед образом святым
Марии — матери прекрасной,
Что в мир наш бога принесла...

Теперь ей все легко, все любо.
Она в ночи не спит, встает,
Свое богатство стережет,
И только ночь пойдет на убыль,
Она опять над ним, и губы
Любовно шепчут: «Вот он, вот...
Мой сын!» И за него с тревогой
Молитву посылает богу,
На улицу выходит с ним —
По улице идет царицей,
Перед людьми добром своим,
Сокровищем своим гордится:
Мол, краше всех и лучше — мой!
И, если кто на сына глянул,—
Нет большей радости! Домой
Приносит своего Ивана
И думает, что все село
Ее лишь сыном любовалось,
Что вместе с ними все ушло
И ничего там не осталось.

Счастливая!..
Года проходят,
И дети взрослые уходят,
Кто в ту, кто в эту сторону:
На заработки, на войну.
И ты осталась сиротою,
И дома никого с тобою
Уж больше не осталось. Плеч
Укутать нечем. Стынет печь,
Не топленная по неделям,
И встать не можешь ты с постели.
Но все — и думы, и мечты,
И все твои молитвы богу —
О них, о деточках...

А ты,
Другая мать, глухой дорогой
Бредешь, боясь глаза поднять,
Великомученица-мать;
Несешь дитя, от всех скрывая.
Ведь пташка малая любая —
И та увидит и поймет:
«Вон девушка свой грех несет».

Бесталанная! А где же
Красота былая,
Та, которой любовались,
Девушку встречая?
Все взяло дитя родное,—
Тяжкий стыд да горе.
Бесприютная, идешь ты
Из села в позоре.
Сторонятся все при встрече,
Как от прокаженной.
А сынок — такой он малый,
Такой несмышленый.
И когда еще он скажет,
Когда пролепечет
Слово *мама*. Великое
Слово человечье!
Подрастет, ему расскажешь,
Как была дивчиной,
Как тебя барчук лукавый

Обманул и кинул.
Ненадолго легче станет —
Срок не за горами:
В люди сын уйдет мальчишкой
Бродить со слепцами.
А тебя оставит нищей,
Чтоб собак дразнила,
Да еще и обругает,
Зачем породила
Да зачем в трудах и в поте
Растила, любила.
И любить, бедняга, будешь
До самой кончины.
А свою кончину встретишь
Где-нибудь под тыном.

[*Кос-Арал, 1849*]
[*Петербург (?), 1858*]

ИВАН ФРАНКО

МИХАЙЛО

Добрый был мужик Михайло,
Тихий человек:
По-соседски, мирно, ладно
Жил да жил свой век.

Самого пусть горе гложет,—
Других веселил.
«Заживем еще, быть может!» —
Часто говорил.

Да пришла пора крутая —
Где уж там зажить:
Гнись, трудись, не отдыхая,
Чтоб долги платить.

И Михайло хоть смеялся,
Смех уж был не тот:
С арендатором встречался —
Так бросало в пот.

От беды не схоронился:
Тяжкий срок настал,
С молотка пошла землица,
Пить хозяин стал.

Что ни день, с тоскою злою
К шинкарю он шел,
Пел, смеялся сам с собою,
Не понять — что плел.

Шинкарю земли остаток
Вскоре пропил он,
И жену с детьми из хаты
Вытолкали вон.

В голос плакала, рыдала,
Идя с узелком,
Горько мужа проклинала
Стоя пред шинком.

А Михайло, головою
Свесившись на стол,
Пел, смеялся сам с собою,
Не понять — что плел.

Допил чарку, встал и вышел,
Больше не ходил:
Шинкарем чуть свет под крышей
В петле найден был.

1881

ПО СЕЛАМ

II

Шинок шумит, шинок гудит,
Во всем селе — аж стон стоит.
Молчи, не спрашивай, народ:
То сам Пазюк горилку пьет.
Уж третью ночь он пьет вот так,
Да не пропьется — пить мастак.
Еще три ночи будет пить
И ни копейки не платить.
О, дед Пазюк на то умен,
С крапивы мед сбирает он,
Всему селу он голова,
Кому нужда — ему лихва.

Но не с шинка процент берет,
Что без гроша он даром пьет!
Зайдем в шинок. Вот за столом
Сидит Пазюк, поет псалом,
Заметь — что грамоте учен,
Что бога в сердце носит он!
Рукою бороду подпер,
Уставил в двери мутный взор.
Мясист лицом. По самый нос
Седой щетиною зарос.
И, словно жесть гремит в ушах,
Он тянет: «Господи, воззвах!»

А рядом кум его сидит.
Он Пазюку в глаза глядит,
Желая в тех глазах прочесть,
По нраву ль куму все, что есть,
Все ль вышло так,— а вдруг да нет,—
Чтоб стал добрей капризный дед;
Когда ж Пазюк допел псалом,

Кум робко начал о другом:
«Спасибо, кум, за голос ваш!
А просьба у меня все та ж:
Сотняжку дайте мне взаймы,
И все верну я до зимы».

А тот как грохнет кулаком:
«Что ж даром я пою дьячком?
Не шутка голос мой хвалить!
Ты водки прикажи налить!»
Как вьюн, свернулся кум-бедняк,
Опять и водку и табак
У шинкаря он в долг берет,
Вновь Пазюка просить идет:
«Уж сколько я вас, кум, пою
За просьбу малую мою.
Мне сотню дать на этот срок
Вы ж обещали, куманек».

Тут в страшный гнев пришел Пазюк
И чарку наземь бросил вдруг.
«Ах ты, голяк! Ах ты, злыдняк!
Еще со мной ты смеешь так!
Сто серебра — то ж капитал!
Ты взять-то взял, да как отдал!» —
«Позвольте молвить, куманек,
Ведь все, что брал, отдал я в срок». —
«Отдал! Отдал! А может нет.
А за тобой ходи я вслед!
Да что уж там! Сказал, так дам!
Пусть потерплю убыток сам».

А кум тогда: «Уж дайте тут!
Свидетели задаром пьют».
Пазюк в ответ: «А пусть их пьют,
Сказал, что дам. И деньги тут!»
И, подняв полу, достает
Свой кошелек, а в нем семьсот,
И на столе их разложил,
Чтоб каждый видел, оценил.
«Вот он, мой плуг, мой луг, мой скот,
Мой двор, амбар, мой огород,
Мое гумно, моя земля,
Мое добро, моя семья».

И вновь сложил, поцеловал
И положил, откуда взял.
А кум от злости аж встает, —
Глазами съел бы те семьсот.
«Кум добрый, смилуйтесь хоть раз,
Чтобы не зря просить мне вас!» —
«Да нет, сынок, господь с тобой,
Уж поздний час! Пора домой!
Еще налей, отправь людей,
А завтра утром — ей-же-ей —
Привел бы только бог дожить,
Ты можешь с ними приходить».

Село шумит, село поет,
Хмельной Пазюк домой бредет,
А сбоку вьется кум-бедняк,
А вслед свидетели — кто как.
Кой-как идут, кой-как орут,
Но вдруг Пазюк схватился: «Тут!
Вот перекресток, вот забор...
А в хате этой сын мой — вор.
Го-го! Он парень с головой!
Так что ж — брести впотьмах домой?
Гей, кум! Куда ты? Наутек?
Ты спать меня веди на ток!»

III

То не пчелы, не шмели
Шумный говор завели
В утреннюю пору,
Не поток запруду рвал,—
Слух из уст в уста бежал:
«Воры! Воры! Воры!»
Кто? Откуда? Где? Когда?
С Пазюком стряслась беда!
Ночью обокрали.
Пьяный спать пошел на ток,
Воры взяли кошелек —
Поминай как звали.

Кто украл? Откуда знать?
Сам Пазюк не мог сказать.
Думал, думал что-то...

Вспомнил вдруг: «Постой, постой!
Кум со мною шел домой!
Кумова работа!»

Тот услышал, весь дрожит,
Как ошпаренный бежит:
«Кум, побойтесь бога!
Присягнуть готов сейчас:
С поворота шел от вас
Я своей дорогой!»

«Врешь ты! Где мой кошелек?
Ты меня водил на ток —
Все теперь понятно:
У ворот бревно принял,
Влез на сено, деньги взял...
Отдавай обратно!»

«Укуси меня змея,
Если только был там я,
Лопнуть мне на месте!» —
«Будет врать! — кричит Пазюк,—
Деньги в руки мне из рук
Отдавай по чести!»

IV

Так побранилися,
Да и сцепилися
Кум с Пазюком.
Сын Пазюку помогает,
Держит, а тот припускает
Куму кийком.

Бьются! Ругаются!
Люди сбегаются
С разных сторон.
Те Пазюка проклинают,
Эти про кума всё знают:
«Он это, он!»

Куча радетелей!
Туча свидетелей!

Тот перед сном
Вышел — клянется — на улицу,
Видит: задворками тулятся
Кум с Пазюком.

Тот будто сам слыхал —
Кума Пазюк позвал:
«Кум, погоди!
В хату идти не хочу я,
Ночь на току заночую,
Кум, проводи!»

Толки с догадками...
Споры с оглядками...
Вздохи: «Ох, ох!..»
А про себя даже рады:
«Так те, пьянчуге, и надо.
Бей тебя бог!»

V

Тем же утром, с криком, с шумом,
Дед Пазюк совместно с кумом
К самому попу пошли.
Шли не ради разговора —
Божий суд наслать на вора,
Приготовили рубли.

На лице у них — подтеки,
А на сердце гнев жестокий,
Нос у кума в кровь разбит.
Два молебна вместе правят,
Бог молитвы не оставит —
Вора громом поразит.

Вышли. Кум темнее тучи,
А Пазюк сменил онучи,
Палку в руки, в торбу — хлеб,
Пять рублей зашил в дорогу,
Для проверки — после бога —
К старой знахарке в Дулеб.

VI

ЗНАХАРКА ГОВОРИТ:

«Ты, человече, худого не бойся!
Деньги воротятся, не беспокойся.

Вор твой живет от тебя за три хаты,
Знаешь его по одежде богатой.

Сам черноусый, да серые очи,
Срок выжидал он три дня и три ночи.

Бог к тебе милостив — вот потому-то
Ты не проснулся в лихую минуту.

Чуть повернулся б ты, чуть простонал бы —
Нож у тебя под лопаткой торчал бы.

Груша растет у тебя возле тына,
Есть в ней дупло вроде норки мышиной.

В это дупло — проверяй аккуратно —
Вор тебе деньги подбросит обратно».

VII

Вот идет Пазюк до дому,
В сердце крепнет дума:
«Не иначе, что гадалка
Говорит про кума.

За три хаты? Кум — он дальше,
За четыре хаты!
По какой его я знаю
Одеже богатой?

Сроду кожаной обутки
Не носили ноги,
И рубаха вся в заплатах,
И армяк убогий,

Черный ус? У кума — рыжий,
Рыжим верит кто же?
А глаза и вправду серы,
Все как есть похоже!

А еще божился, клялся!..
Плакал для порядку!
Сам же нож хотел мне всунуть
Прямо под лопатку.

Погоди-ка!.. Жаль, что груши
Возле хаты нету.
Ну да верба есть, и ладно.
Кум пойдет к ответу!»

VIII

Ой-ой! На селе приключилась беда.
Детишки с дороги бегут кто куда,
А старшие в поле бросают работу,
Спешат на село, словно видят пожар!
На лицах приметишь и страх и заботу:
Приехал жандарм!
Кто сети рыбачьи под крышу пихает,
Кто в хате ружьишко со стенки срывает
И прячет в амбар,
Кто краденый дуб укрывает под печку,
Кто с бочкой пожарной несется на речку:
Приехал жандарм!

Жандарм и начальник допрос учиняют,
Добро Пазюка они ищут,
Весь дом обыскали, соседей пугают,
По хатам, по улице рыщут.
Дознание строго, да толку немного,
Следа не видать, как во тьме.
«А ты, кум любезный, в оковах железных
Пока посиди-ка в тюрьме».

IX

Скоро месяц, как кум в каталажке сидит,
А в селе снова шум, точно улей гудит.

Вот к попу сын Пазюк незадачный пришел,
Он кладет со смиреньем пятерку на стол.

«Горе в гости ко мне, ваша милость, пришло!
«Ты отца обобрал,— говорит все село.—

Бедный кум угодил за тюремную дверь».
Как мне быть, ваша милость, что делать теперь?»

Поп плечами пожал: «Охо-хо! Грех велик!»
А Пазюк молодой — он горазд на язык:

«В воскресенье хочу пред священным крестом,
Перед всеми людьми присягнуть я на том,
Что я денег отца не имею».

«Ладно, сын мой! К присяге тебя приведу.
Но гляди, чтоб не впал ты в большую беду!

На присяге солгать — это тягостный грех.
Брал ты деньги? Ответствуй мне, тайно от всех,
Говори мне всю правду скорее».

«Только правду? Ну, отче!.. Да брал иль не брал,
Вот вам крест, что вчера до копейки отдал.
И могу присягнуть, что я их не имею».

1898

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

ЯНКА КУПАЛА

С НОВОЙ ДУМОЙ

С новой думой, с песней новой
Выйдешь ты на пашню,
Брат мой, труженик суровый,
Панский раб вчерашний.

По весне зерном отборным
Ты засеешь ниву.
Не свернешь с дороги торной,
Брат мой терпеливый.

Полон новой, гордой силы,
К свету, к счастью выйдешь.
Что вчера во сне не снилось —
Наяву увидишь.

По-хозяйски деловитый,
Будешь сам дивиться,
Как в дому твоем зажиток
Прочно поселится.

Распростишься с думой старой,
Безнадежно-грустной,
Будет нынче и в амбарах
И в хлебах — не пусто.

Не ударит пан вельможный,
Как бывало, палкой,
Если вдруг, неосторожный,
Шапки не ломал ты.

Позабудешь ты навеки
Горе, гнет бесстыдный.
Будешь зваться человеком,
А не панским быдлом.

И в своей родной краине,
Брат мой терпеливый,
Заживешь и ты отныне
Радостно, счастливо.

Сентябрь 1939

МИКОЛА ЗАСИМ

ПАРАГВАЙ

Под любой мужицкой крышей,—
Весь пройди Полесский край,—
Всюду нынче только слышишь
Это слово: Парагвай.

Агитатор панский въедлив,
Слушай, рта не закрывай.
Беднота, мол, пусть немедля
Подается в Парагвай.

Там для всех достатка хватит,
О земле там речь смешна.
И налогов там не платят,
И одежа не нужна.

Там курить — махорки горы,—
Жги, дыми, бери в запас.
Там живет завидней хворый,
Чем здоровый здесь у вас.

Только в Шубичах случилось,—
Встал один мужик Тимох,
Молвит пану: «Сделай милость,
Брось трезвонить, пустобрех.

Ты зови с собой богатых,
Нам от них очисти край.
Мы и тут найдем достаток,
Свой построим «Парагвай».

Западная Белоруссия, 1935

О СЕБЕ

Поглядишь, — поэтов
И не счесть, пожалуй.
Гладких, как паркеты
Те, что в панских залах.

Сходных же со мною
Что-то маловато:
Как долбней — строкою
Я глушу пузатых.

Груб мой стих неловкий,
Может, неумелый,
Да под стать веревке,
Что свита для дела.

Плуг тащить придется —
Служит, как и надо.
И не оборвется,
Если вздернуть гада.

Западная Белоруссия, 1936

СЕСТРЕ

Сестренка милая моя,
Ты где теперь — не знаю,
Одно, о чем прослышал я, —
Схватили полицаи.

И увели на Белосток,
В Германию рабою.
И хлеба увязать в платок
Ты не могла с собою.

В слезах, поникнув головой,
Ты шла с другими рядом.
На сельских улицах конвой
Толкал тебя прикладом,

Чтоб нашим людям в души страх
Вселить, не дать потачки...
А я лежал в сырых кустах,
Больной, в бреду, в горячке.

Не мог тогда поспеть к тебе,
Спасти сестру родную.
Но нынче снова я к борьбе
Вернулся, вновь воюю.

Сестренка милая моя,
Не знаю, где ты ныне.
В одно лишь твердо верю я:
Найду тебя в Берлине.

1942

ПОЭТУ

Писать и только — это мало.
Цена таким писаньям — грош.
А чтоб одна рука держала
Перо, другая — острый нож.

Фашисту нож всади под ребра
И сам воспой его конец.
Тогда, по правде, будешь добрый
Для наших грозных дней певец.

1942

О ЛЮБВИ

«Люблю, люблю» — слова, словечки,
Когда родимый край в огне,
А ты, как кот, лежишь на печке —
«Люблю, люблю»,— мурлычешь мне.

И я скажу тебе по-свойски:
Тогда смогу твоею стать,
Когда получишь знак геройский,
Его ж на печке долго ждать!

1943

ВСТРЕЧА

Вся деревня, стар и млад,
В хате у Акима:
Из Берлина сын-солдат
Прибыл невредимый.

Дед Лукаш, родня кругом,
Братья: Гриц, Тодорка.
А солдат — орел орлом,
В новой гимнастерке.

Грудь в медалях, в орденах —
Даром не получишь.
«На каких бывал фронтах,
Расскажи-ка, внучек?» —

«А смотрите все подряд,
Ради интереса:
Ленинград и Сталинград,
Киев и Одесса.

На поверку — как один,—
Слева или справа.
И Варшава и Берлин,
И «Звезда» и «Слава».

1945

МИКОЛА СУРНАЧЕВ

В ПОТОПТАННОМ ЖИТЕ

Уже не доехать
Бойцу молодому
До края родного,
До отчего дому.

Лежит он, раскинувшись,
Руки разбросив,
Над ним обгорелые
Никнут колосья.

Лежит он, как витязь,
В потоптанном жите,
Родную увидите —
Не говорите.

1941

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

КРЫЛЬЯ

Я покидал родимый край,
Где жил юнцом счастливым:
Пришел мой срок сказать «прощай»
Своим лесам и нивам.

Вослед мне долго шли поля,
Луга родного края,
Как молодого журавля
К отлету провожая.

Огни окошек мне вослед
Мигали вдаль с тревогой:
Я отправлялся в белый свет,
В безвестную дорогу.

Земля шептала мне:
— Лети,
Мой молодой да ранний!
Кто знает, сколько на пути
Ты встретишь испытаний.

Опи идут за рядом ряд —
И труд, и кровь сражений...
Лети!
Дороги нет назад —
К родпым кустам сирени.

Вдохнул я воздуха высот,
Мечту сроднивши с былью.
В далекий путь, в большой полет
Дала мне юность крылья.

В трудах суровых на войне
Я закалил терпенье,
И ничего, что, может, мне
Огнем хватило перья.

Где ни проехать, ни пройти,
Я полз по глине взрытой...
Я не жалею. Десяти
Небитых стоит битый.

И если б даже там песок
С землей меня накрыли,
И то бы, кажется, не мог
Своих сложить я крыльев.

Я б пожелал еще познать
Одно из испытаний:
Из мертвых встать,— хоть трудно встать,—
Рассвет увидеть ранний.

Подняться, встать, прозреть опять,
Умыть лицо водою
В ручье лесном, чтоб не пугать
Людей землей сырою.

И вновь рвануть, чтоб ветер в грудь,
Чтоб снова — впрок усилья...
...Смелее — в путь, и в путь, и в путь! —
Затем даны мне крылья.

1945

ИЗ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

СЫНА ПРОВОЖАЯ

(с украинского)

Как пошел мой любый, милый,
Мой казак червонный,
Охранять страны советской
Дальние кордоны.

За околицу с друзьями
Выходил мой бравый,
Пели песни на прощанье
Про любовь и славу.

И не плакала старуха —
Мать его родная.
Добрым словом наставляла,
Сына провожая:

— Исполняй, сынок, прилежно
Службу боевую,
Не позорь меня, старуху,
Мать свою родную!

Не давай, сынок, пощады
Ворогу лихому!
Командиром на побывку
Приезжай до дому!

ОЙ, КАК НЕБО ПОТЕМНЕЛО

(с украинского)

Ой, как небо потемнело,
Тучи нависают,—
На Украйну вражьи своры
Скопом наступают!

Разоряют наши села,
Грабят, режут семьи,
Кровью нашего народа
Поят нашу землю.

Ой, как встала, поднялася
Беднота навстречу!
И великая с врагами
Закипела сеча.

Наш казак Семен Буденный
Рубит стаи вражьи.
Пушки бьют, клинки сверкают,
Панство пятки кажет.

Панство больше не вернется
Украиной править,
А вернется — обожжется,—
Головы оставит!

ПЕСНЯ СТАРИКА

(с украинского)

Меня били при царе,
Били при Петлюре,
Много шрамов и рубцов
Я ношу на шкуре.

У поляков был в плену —
Знаю их сноровку.
Растянули на скамье,
Привязав веревкой.

Били — счет я потерял —
Били шомполами.
Поздно ночью, весь в крови,
Я очнулся в яме.

По снегу пополз, чуть жив,
Выбрался из ямы,
Но назад меня столкнул
Караульный пьяный.

И — чуть свет — в застенке их
Вновь терпел я муки.
За спиною пояском
Мне связали руки.

Подтянули к потолку —
Не забыть до гроба.
И вовек моя к панам
Не утихнет злоба!

Эту песню вам не зря
Спел я, сидя с вами,
Знайте, хлопцы, отчего
Я покрыт рубцами!

ПЬЯНИЦА

(с белорусского)

Выйдет, выйдет пьяница
За ворота.
На работу пьянице —
Неохота.

Идет, идет пьяница
Мимо сада,
А народ работает
По бригадам.

Идет, идет пьяница,—
Скучно что-то...
«Ходи, ходи, пьяница,
Поработай!»

По дороге пьяница
В поле вышел,
Голова болтается,
Ноги пишут.

Ой, не хочет пьяница
Косить сено,
Ему море — пьянице —
По колено.

Гуляй, гуляй, пьяница,
По лесочку!
Скучай, скучай, пьяница,
В одиночку!

Гуляй, гуляй, пьяница,
Вечер скоро.
Ночевать завалишься
Под забором.

Гуляй летом, пьяница,
День и вечер.
А зимой закусывать
Будет нечем.

ПРО ГОРЕ

(с белорусского)

Летели гуси далече,
Вели меж собою речи:

«Нету погоды хуже,
Как морозы зимою;
Нету постылей гостьи,
Как горе лихое.

Горя давно не видит
Сторонка родная.
Пришло б оно, горе, в гости —
Дороги не знает...

Пришло б оно болотами —
Болота перерезаны,
Осушены, раскопаны
Лопатами железными.

Незвано и непрошено,
Пришло б лугами дикими,
А все луга покошены
Покосами великими.

Пришло б полями голыми,
А все поля засеяны,
А все поля засеяны,
Шумят хлеба веселые.

Шумят хлеба, как море...
Дороги нет для горя!»

ЗЯТЬ И ТЕЩА

(с белорусского)

«Ты скажи-ка, зятюшка,
Беден иль богат?
Много ли имеешь ты
Коней, жеребят?»

«Ой, богат я, теща,
Да и как богат!
Целый двор имею
Коней, жеребят».

«А довольно ль, зятюшка,
У тебя овса?
Широка ли на поле
Твоя полоса?»

«Ой, амбары, теща,
У меня овса!
Во все поле на поле
Моя полоса».

«Все хозяйство, зятюшка,
Покажи свое.
Доброе ль предвидится
У тебя житье?»

«Отвечаю, теща:
Доброе житье,
Все кругом колхозное,
Все кругом — мое!»

НЕ НАДЕЙСЯ

(с чеченского)

Если доброго в колхозе
Ты не вырастил коня,
Если честною работой
Не порадовал меня,—
Участь горькая твоя:
За тебя не выйду я,
Не надейся!

Если наши распорядки
Для тебя не хороши,
Ни работать, ни учиться
Ты не хочешь от души,—
Участь горькая твоя:
За тебя не выйду я,
Не надейся!

ВЫБОР

(с армянского)

Хлев мощеный у меня,
Там поставлю я коня.

За кулацкого сынка
Я не выйду никогда,—
Длинноусый, некрасивый,
Рыжий, клином борода!

Веселят коня подковы,
А красавицу — обновы.

Я не выйду, я не выйду
И за сына торгаша,—
Бледнолицый, красноносый,
Пятачковая душа!

Платье скромное ношу,
Про любовь не вдруг скажу.

За поповича не выйду —
Он на клиросе поет,
Служит богу, а на водку
Свечи старые крадет!

Кто приветлив и хорош?.
За кого, скажи, пойдешь?

Я пойду за тракториста,
Не похож он на других:
Черноглазый, бритый чисто,
Славный парень мой жених!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(с черкесского)

Лау, лау, лау, ла [1],
Спи, мой мальчик, ночь пришла.

Спи, мой мальчик кареглазый,
Я тебе спою
Про судьбу твою, про славу
Гордую твою.

Все кругом — поля и горы,
Реки и леса,—
Все твое, мой сын богатый,
Карие глаза!

Ночью тихо на дорогах,—
Кончен в поле труд.
Где-то песню трактористы
Позднюю поют.

Подрастешь, мой мальчик, скоро,
Будешь ты большой,
Будешь тоже трактористом,
Кареглазый мой.

Ты себя еще покажешь —
Время впереди.
Ты носить за подвиг будешь
Орден на груди.

Отличишься на работе
И не сдашь в бою.
И пожмет наш Сталин руку,
Рученьку твою.

---

[1] Непереводимый припев, соответствует русскому «баю, бай».

Лау, лау, лау, ла,
Спи, не ворошись.
Ждет тебя большая слава,
Ждет большая жизнь.

Лау, лау, лау, ла,
Спи, мой мальчик, ночь пришла.

ПРИМЕЧАНИЯ[1]

[1] Литературоведческая часть примечаний написана Ю. Г. Буртиным, справочно-библиографическая — Р. М. Романовой.

Настоящее шеститомное собрание сочинений А. Т. Твардовского — первое посмертное собрание сочинений великого русского поэта советской эпохи. Не будучи полным, оно вместе с тем ощутимо полнее, чем два его прижизненных собрания — в четырех и в пяти томах[1]. В основу его положен, без каких-либо изъятий, состав пятитомника, включавшего подавляющее большинство опубликованных произведений зрелого Твардовского. Наиболее существенными дополнениями к этому составу являются, во-первых, некоторое количество ранних поэтических и прозаических вещей, во-вторых, ряд посмертных публикаций из архива поэта, хранящегося у его вдовы, М. И. Твардовской. Кроме того, в настоящее собрание сочинений впервые включаются две группы текстов: избранные переводы и письма.

Распределение материала по томам и внутри томов подчинено жанрово-хронологическому принципу.

Первые три тома составляют стихотворения и поэмы. В отличие от пятитомника, где первый том включал в себя только стихотворения, а два следующих — поэмы, в каждом из первых трех томов настоящего собрания даются как стихотворения, так и поэмы, относящиеся к тому или иному периоду творчества поэта.

При таком расположении с особой рельефностью выступает движение поэзии Твардовского, главные этапы этого движения, тот кардинальный для творчества поэта факт, что, живя одной жизнью с народом и находясь в процессе непрерывной внутренней работы, он не просто менялся с течением времени, но на каждом крупном этапе общественного бытия как бы заново — вновь и вновь — рождался в поэзии. Эта особенность творческого развития Твардовского, позволявшая ему на протяжении нескольких десятилетий оставаться едва ли не самым глубоким выразителем

[1] А. Т. Твардовский. Собр. соч. в 4-х томах. М., Гослитиздат, 1959—1960. Далее — «четырехтомник».

А. Т. Твардовский. Собр. соч. в 5-ти томах. М., «Художественная литература», 1966—1971. Далее — «пятитомник».

«духа времени», и делает предпочтительным принятый в шеститомнике принцип расположения материала. Каждый том дает целостное представление о соответствующем периоде поэтического творчества Твардовского, позволяет уловить те глубокие внутренние связи, которые существуют между поэмами и стихотворениями, создававшимися более или менее одновременно.

Границы между томами проведены в основном так же, как установил их сам автор, составляя свое первое, четырехтомное собрание сочинений.

Том 1 — стихотворения 1926—1940 годов (за исключением цикла стихов, связанного с Финской кампанией) и поэма «Страна Муравия»; сюда же отнесены переводы Твардовского.

Том 2 — стихотворения периода Финской кампании и Великой Отечественной войны, то есть 1939—1940 и 1941—1945 годов, и обе «военные» поэмы: «Василий Теркин» и «Дом у дороги».

Том 3 — стихотворения 1946—1970 годов и поэмы «За далью — даль» и «Теркин на том свете».

Такое разграничение, проходя по реальным «водоразделам», выделяет три действительно основных этапа творческого пути Твардовского-поэта: довоенный, военный и послевоенный, — глубоко отличные друг от друга и по строю чувств, и по тематике, и по соотношению эпического и лирического начал, и по характеру самого лиризма. Тут следует оговорить лишь некоторые второстепенные моменты. В частности, во второй том отнесены стихотворения о Финской кампании, хотя и в первый том вошли некоторые вещи, датированные теми же 1939—1940 годами. Указанное расположение помогает читателю непосредственно сравнить стихи, родившиеся на малой, «незнаменитой», и на великой народной войне, увидеть, с одной стороны, истоки многих тем и мотивов «военного» Твардовского, а с другой стороны, меру углубления их в «Книге про бойца» и лирике 1941—1945 годов. В свою очередь, все переводы Твардовского, которые даются в настоящем издании, собраны в первом томе, хотя часть из них относится к послевоенным годам: ввиду общей немногочисленности этих работ и того обстоятельства, что наиболее значительные из них (переводы из Шевченко) были выполнены в тридцатые годы, делить переводы, согласно хронологии, между первым и третьим томами представлялось нецелесообразным.

И, наконец, несколько слов о «Доме у дороги». Не только по формальной дате окончания и опубликования (1946), но и по своему смыслу и духу («память боли») это послевоенная поэма о войне, хотя начата она была еще в 1942 году, почти одновременно с «Теркиным». Поэтому (как это и было сделано автором в че-

тырехтомнике) она могла бы быть помещена в третий том, рядом с такими стихами, как «Я убит подо Ржевом», «Жестокая память» и др. Но непосредственное соседство обеих «военных» поэм Твардовского, облегчая для читателя возможность их сопоставления, придает второму, «военному», тому бо́льшую цельность и законченность.

Вторая, прозаическая, половина данного собрания сочинений сохраняет в своем построении композиционные принципы пятитомника.

Том 4 — художественная проза.

Том 5 — статьи, заметки и выступления о литературе. Состав этого тома по сравнению с пятитомником несколько расширен.

Том 6 — письма.

Внутри каждого тома и жанрового раздела (стихотворения, поэмы и проч.) произведения располагаются в хронологической последовательности, причем вещи одного и того же года, как правило, следуют в порядке их опубликования. Этим объясняется некоторая перекомпоновка материала по сравнению с прижизненными изданиями. Даты опубликования произведений, проверенные и уточненные, указаны в справочно-библиографической части примечаний; даты написания даются непосредственно под текстом (в угловых скобках — в тех случаях, когда авторская датировка отсутствует).

Перестановка некоторых стихотворений, а также включение ряда стихов, не входивших в прижизненные издания лирики Твардовского, заставили отказаться в шеститомнике от циклизации стихотворений, порой носившей довольно условный характер («Послевоенные стихи», «Стихи из записной книжки», «Из новых стихотворений»), и снять названия циклов. По свидетельству М. И. Твардовской, сам поэт склонялся именно к такому решению: в последнем подготовленном им издании стихов и поэм (А. Твардовский. Стихотворения. Поэмы. («Библиотека всемирной литературы»). М., «Художественная литература», 1971) деление на циклы отсутствует.

Тексты произведений, входивших в пятитомник, даются по этому изданию (в таком случае источник публикации в примечаниях специально не оговаривается). Остальные тексты, опубликованные при жизни автора, печатаются по последним прижизненным изданиям. Произведения, опубликованные посмертно, а также публикуемые впервые, печатаются по рукописям.

Настоящий шеститомник — первое собрание сочинений Твардовского, снабженное предисловием и справочным аппаратом — примечаниями, которые, помимо общих характеристик состава

каждого данного тома, содержат краткие сведения библиографического характера, реальный комментарий и — в случаях необходимости — основные сведения об истории создания и публикации соответствующих произведений, о последующей авторской работе над ними и т. п. Сведения об оценке произведений Твардовского критикой, как правило, не даются; заинтересованного читателя отсылаем к библиографическим описаниям обширной критической и научной литературы о творчестве Твардовского; см., в частности, П. С. Выходцев. А. Т. Твардовский. Семинарий. М., 1960; комментарий А. Македонова в кн.: А. Т. Твардовский. Стихотворения. Поэмы. М., «Художественная литература», 1971, а также статью А. М. Туркова «Твардовский» в «Краткой литературной энциклопедии», т. 7. М., 1972.

* * *

Первый том включает в себя стихотворные произведения, написанные в 1926—1940 годах. В творчестве поэта это вполне законченный, по-своему целостный период, характеристика которого представляет, однако, известную трудность.

С одной стороны, перед нами ранний Твардовский, еще не сделавший того главного, что впоследствии определит его облик в сознании современного читателя и его место в литературе, еще не ставший автором «Василия Теркина» и последующих своих поэм, лириком огромной силы мысли и чувства, одной из центральных фигур литературно-общественного развития трех последних десятилетий. С другой стороны, это уже автор «Страны Муравии», которого в 1940 году А. Фадеев назвал «крупнейшим советским поэтом», добавив, что «среди современного поэтического молодняка можно видеть немало поэтов, тяготеющих к Твардовскому» [1].

Если рассматривать Твардовского середины и второй половины 30-х годов безотносительно к его будущему, то нам предстанет автор ряда первоклассных стихотворений и высокоталантливой поэмы, вполне сложившийся поэт во всеоружии зрелого мастерства, принесший в поэзию не просто свой круг тем, свой слог и интонацию, но нечто гораздо большее: собственный целостный поэтический мир. Очерчивая границы этого мира, критика 30-х годов нередко называет тогдашнего Твардовского «современным крестьянским поэтом», «поэтом новой, колхозной деревни». Если не иметь в виду снобистского либо вульгарно-социологического и дог-

---

[1] «Литературная газета», 1940, 24 ноября.

матического оттенка (а подчас и смеси их) в некоторых из таких высказываний, то для подобного определения было достаточно оснований. И не только в том ближайшем смысле, что, вникая «со страстью во все, что составляло собою новый, впервые складывающийся строй сельской жизни» [1], поэт писал тогда почти исключительно о деревне и деревенских людях, о добрых переменах в их судьбах, труде, отношениях между собою. Легко улавливалась крестьянская основа личного жизненного опыта автора, сказывавшаяся в языке и образном строе, в той естественности, с какой входили в его стихи живые подробности деревенского быта. Ощущалась сердечная близость поэта к своим простым героям, без которой не могло быть ни начальных глав «Страны Муравии», глубоко передающих переживания крестьянина на распутье «великого перелома», ни таких, например, стихотворений, как «Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой...», «Про теленка», «Дед Данила в лес идет». Если впоследствии определение раннего Твардовского как «крестьянского» поэта было отброшено, то вовсе не из-за слабости в его стихах «крестьянского начала»: появилась возможность понять крестьянское у Твардовского как форму бытия и проявления народного, общечеловеческого да и самую проблему «социальных корней» его творчества увидеть в гораздо более широкой исторической перспективе.

Чтобы измерить глубину той жизненной почвы, на которой выросла довоенная поэзия Твардовского, надо принять во внимание весь многосложный процесс революционного преобразования крестьянской России. Революция, приобщившая к исторической активности многомиллионные человеческие массы; коллективизация и культурная революция, вдруг открывшие перед деревенским парнишкой «тысячи путей»; формирование за счет сельского пополнения, и притом в кратчайшие сроки, всех слоев общества («Мы все, почти что поголовно, оттуда люди, от земли», — скажет впоследствии автор поэмы «За далью — даль») — без учета всего этого невозможно понять появление такого поэта, как Твардовский, — после Блока и Маяковского, после целой полосы господства поэтических школ и принципов совсем иного рода. Сама история вызвала поэта к жизни; в русле, в ритме и в масштабе истории совершался и весь его последующий путь.

Твардовский 30-х годов — это первый большой советский поэт, в таланте и творчестве которого органически слились опыт многовековой крестьянской культуры с художественным опытом рус-

---

[1] А. Т. Твардовский. Автобиография, см. наст. том, с. 24.

ской классики — две великие культурные традиции, до поры разделенные высоким социальным барьером. Вместе с тем он был в полной мере человеком своего времени и своего поколения, комсомольцем эпохи коллективизации, свидетелем и участником бурных перемен, совершавшихся в деревне и в городе, в жизни множества его сверстников:

Кто вышел в море с кораблем,
Кто реет в небе птицей,
Кто инженер, кто агроном,
Кто воин на границе.

По всем путям своей страны,
Вдоль городов и пашен
Идут крестьянские сыны,
Идут ребята наши.

(«В поселке»)

В этих строках — один из лейтмотивов довоенного Твардовского («Мать и сын», «Сверстники», «Друзьям» и др.), во многом определяющий тот общий тон бодрости и оптимизма, то остро ощущаемое *чувство движения жизни*, которые отличают его поэзию 30-х годов и в середине десятилетия достигают своей высшей точки.

Не только в ранних поэмах начала 30-х годов («Путь к социализму», 1931; «Вступление», 1932) и в «Стране Муравии», но и в стихах этого времени Твардовский выступает преимущественно как эпик. Это впечатление усиливается еще и тем, что некоторые чисто лирические его вещи оставались до поры неопубликованными. Облик поэта в сознании читателя и критики определяют в те годы, помимо поэм, жанры стихотворения-«портрета», несколькими точно выбранными штрихами воспроизводящего внешность, характер, судьбу героя («Бубашка», «Ивушка», «Шофер»), и в еще большей степени — рассказа в стихах, маленькой стихотворной новеллы, с живым и четким сюжетным развитием, которое на каком-то простом житейском эпизоде выявляет нечто существенное, новое, доброе в людях, в их жизни и взаимоотношениях. Таковы «Гость», «Встреча», «Размолвка», «Соперники», «Прощание», «На свадьбе», «Случай на дороге», «Про теленка», большинство стихотворений про деда Да́нилу, «Ленин и печник» и некоторые другие. Многие из этих стихотворений поистине прекрасны, и успех их определяется прежде всего той сердечностью и теплом, тем триединым «даром сочувствия, даром понимания, даром выражения», с каким молодой поэт говорит о своих героях, пре-

вращая рассказ о них в своеобразную «лирику другого человека»[1]. Все прочие свойства лучших поэтических произведений довоенного Твардовского: мастерство сюжетостроения, психологическая тонкость, юмор, достоинства языка и стиха — существуют в нерасторжимой органической связи с этой их человеческой сутью, — отсюда удивительная подлинность и цельность его созданий; они *живут*. Живут и сегодня, мягко, но неотвратимо подчиняя современного читателя, человека иного времени, опыта и душевного склада, обаянию молодости, оптимизма, доброго и ясного взгляда на мир.

В творчестве Твардовского 30-х годов определяются, получают проявление и развитие многие грани и предпосылки того разностороннего и всеобъемлющего качества, которое после «Теркина» будет осознано как народность его поэзии. Природная человечность и демократизм, подкрепляемые рано осознанным стремлением «рассказывать и говорить в стихах о чем-то интересном не только для меня, но и для тех простых, не искушенных в литературном отношении людей, среди которых я продолжал жить»[2]; одинаково живая и прочная душевная связь с современностью и с глубочайшими пластами отечественной культуры — пожалуй, важнейшие из таких предпосылок. Если же попытаться определить, чего в те, довоенные, годы «недоставало» поэту или, иначе, что было нужно ему, чтобы в полной мере подняться до самого себя, то дело сведется, на наш взгляд, в конечном счете к одной, хотя и существенной, «нехватке».

Для Твардовского военных и послевоенных лет понятие активности художника неразъединимо с острейшим чувством личной ответственности перед народом, прямой, вне всякого посредничества, связи с ним, уполномочивающей и обязывающей одновременно:

Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.

(*«За далью — даль», глава «Так это было»*)

В стихах 30-х годов мы еще не встретим подобного самоощущения, а тема ответственности если и возникает в них, то лишь в коллективном, так сказать, плане:

Наш год, наш возраст самый тот,
Что службу главную несет.

(*«Друзьям»*)

[1] В. Александров. Люди и книги. М., 1956, с. 287, 288.
[2] А. Т. Твардовский. Автобиография, см. наст. том, с. 22.

Наш день рабочий начался,
И мы с тобой мужчины.
Нам сеять хлеб, рубить леса
И в хо́д пускать машины.

(«Сверстники»)

Личностное «Я» и коллективное, народное «Мы» всегда будут слиты в поэзии Твардовского, однако характер этого единства в разное время различен. Чем чаще, независимее и доверительнее будет звучать в его стихах и поэмах прямое лирическое «Я», тем более широким становится их народное, общечеловеческое содержание. Такова диалектика истории, такова диалектика искусства. В 30-е годы индивидуальное, идейно-творческое «Я» поэта еще не выделилось в достаточной степени в рамках коллективного «Мы», не сформировало своего собственного отношения к миру, рождающего потребность в прямом горячем самовысказывании. Не потому ли в стихах настоящего тома лирическое начало выражается большей частью опосредованно, преломляясь в «лирике другого человека», в отборе и освещении жизненного материала? Лишь к концу десятилетия лирика непосредственного самовыражения начинает занимать в его стихах все большее место («Поездка в Загорье», «На хуторе Загорье», «Садик в поле открытом...» и др.).

С другой стороны, можно говорить об относительной слабости в довоенном творчестве Твардовского (реалиста по самой сути своего таланта) «исследовательского» начала. Поэт открывает — действительно открывает — и с неотразимой убедительностью лепит привлекшие его характеры (старый печник Ивушка, плотник дед Данила), высвечивает новое во взаимоотношениях молодых людей колхозной деревни, но, судя по всему, еще не ставит перед собой задач более широких и трудных, не обнаруживает тяги к целостному художественному познанию окружающей жизни во всем ее богатстве и противоречиях. Никита Моргунок, с его нешуточной внутренней борьбой накануне вступления в колхоз, представляет собой в этом смысле, пожалуй, единственное — хотя и очень значительное — исключение.

Впоследствии, говоря об одном из своих довоенных начинаний (первоначальном, из Финской кампании выросшем варианте «Теркина»), Твардовский заметит: «...В моей работе, в поисках и усилиях... все же был грех литературности. Я писал в мирное время, моей работы никто особо не ждал, никто не торопил меня, конкретная потребность в ней как бы отсутствовала вовне меня» [1].

---

[1] А. Т. Твардовский. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 2. М., 1966, с. 375.

С известным правом это замечание можно отнести и к ряду других его довоенных вещей. Не в том смысле, чтобы это были безжизненные, надуманные сочинения — нет, поэзия Твардовского тем-то в первую очередь и привлекала читателя, что в ней всегда ощущались живая теплота, искренность, реальные черты жизни. «Не хватало» же некоего «нерва», некоей большой, жизненно важной задачи, которую необходимо было бы разрешить для всех и для самого себя и которая побуждала бы как к трезвому «исследованию», так и к прямому лирическому самовыражению.

Лишь гром великой всенародной беды «пробудил» в Твардовском народного поэта в том полном значении этого слова, которое раскроется в «Книге про бойца». Но для этого нужно было *уже* быть тем Твардовским, с каким знакомит нас первый том его сочинений: поэтом, широко и глубоко укорененным в народной жизни, душевно связанным со своей страной, временем, поколением, со своими сверстниками и земляками, с родной природой и русской речью, человеком большого таланта и большого сердца.

* * *

Как уже говорилось выше, по своей структуре и составу настоящий том в основном (если не считать переводов) повторяет первый том четырехтомного собрания — с той корректировкой, которая была предпринята Твардовским при составлении пятитомника. В некотором общем пояснении нуждается, однако, сам авторский выбор, определявшийся взглядом поэта на свое довоенное творчество.

Судя по «Автобиографии», довоенный отрезок своего творческого пути Твардовский делил как бы на два основных периода. Первый, продолжавшийся почти десять лет, с 1924 по 1932—1933 год, — это период, на протяжении которого Твардовский от селькорства и первых, во многом ученических поэтических опытов (стихи 20-х гг.) переходил ко все более активным и сознательным поискам собственной поэтической формы, призванной выразить, облечь в слова «то наблюденное и добытое из жизни», что он «носил в душе» (поэмы «Путь к социализму» и «Вступление», обе о коллективизации). Второй период (середина и вторая половина 30-х гг.) — это уже период зрелости или «первой зрелости», если иметь в виду сказанное выше об особенностях творческого пути Твардовского. Выход на этот рубеж ознаменован был созданием таких стихотворений 1933—1934 годов, как «Гость», «Бубашка», «Братья», «Полет» и др., и окончательно закреплен «Страной Муравией», с которой, по словам поэта, он вел счет своим писаниям, способным характеризовать его как литератора.

Составляя свои книги, Твардовский всегда исходил из названной периодизации собственного творчества. Выражалось это прежде всего в том, что на протяжении многих лет в издания его поэзии попадали только произведения, относящиеся ко второму, зрелому периоду; ни одна из вещей, написанных ранее 1933 года, не переиздавалась вовсе. Только в четырехтомнике появился небольшой раздел «Из ранних стихотворений», в пятитомнике вновь сильно урезанный.

Что касается стихов середины и второй половины 30-х годов, то их состав в пятитомнике складывался как итог двух «встречных» процессов. С одной стороны, к той основной сумме стихотворений, которая вошла в довоенные сборники и впоследствии многократно перепечатывалась в составе цикла «Сельская хроника», поэт в 1958—1959-ом [1] и в последующие годы добавил ряд вещей, ранее не публиковавшихся. В их числе несколько чисто лирических этюдов («Тревожно-грустное ржанье коня...», «За распахнутым окном...», «Перед дождем»), а также два-три стихотворения, которые по своей тональности отличались от большинства его вещей этого времени («Матери»), а трезвым вниманием к неказовым, будничным сторонам жизни как бы предрекали Твардовского будущих военных книг («Что он делал, что он думал...», «Прошло пять лет. Объехав свет...»). С другой стороны, некоторые стихи, входившие в сборники 30-х годов и в последующие издания, не были включены поэтом в пятитомник. Это определялось в первую очередь эволюцией идейно-эстетических требований автора.

Твардовский, как правило, не переделывал свои прежние, тем более давние вещи, ограничиваясь обычно немногими чисто стилевыми исправлениями; возможность «на листах ушедших лет внести еще какие-то поправки, чертой ревнивой обводя свой след», его не привлекала. Если по мысли или художественному качеству стихотворение переставало его удовлетворять, то он либо вовсе исключал его из своих книг, либо сокращал, подчас весьма решительно («С одной красой пришла ты в мужний дом...», «Братья»).

Так сложился тот состав довоенной лирики Твардовского, который можно считать каноническим. В настоящем томе он пополнен несколькими стихотворениями, частью ранними («Урожай», «Поезда», «Четыре тонны», «Друг мой вовремя уехал...» и др.),

---

[1] А. Твардовский. Лирика разных лет. 1938—1958. — «Литература и жизнь», 1958, 6 апреля; Стихи из записной книжки. 1936—1958. М., Изд-во «Правда», 1959.

расширяющими представление о круге чувств и интересов юноши Твардовского, частью — относящимися к поре творческой зрелости поэта, но по разным причинам остававшимися неопубликованными. Из последних особенно ценными представляются стихотворения «Здравствуй, сверстница и тезка...», «Дождь надвигается внезапный», «Сын мой уснул, разметавшись...», в которых с большой силой гуманного чувства выражено то автобиографическое, интимно-личное, что Твардовский, особенно довоенный, избегал выносить «на люди»; в личный и творческий облик поэта эти стихи вносят новый живой штрих.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Урожай (стр. 31). — Впервые — в газете «Смоленская деревня», 1926, 21 сентября, с эпиграфом, впоследствии снятым автором. Там же рисованный портрет с надписью: «Селькор-поэт А. Твардовский». Автор портрета — Н. Фомичев, художник смоленской газеты «Рабочий путь» (упоминание об этом портрете см. в «Автобиографии» Твардовского). Печатается по тексту четырехтомника, т. 1. М., Гослитиздат, 1959, с. 21—22.

Родное (стр. 32). — Впервые — в газете «Юный товарищ» (Смоленск), 1926, 30 сентября. Печатается по тексту четырехтомника, т. 1, с. 23—24.

В глуши (стр. 33). — Объединенный и сокращенный вариант стихотворений «Почта» и «В глуши», впервые опубликованных в газете «Юный товарищ», 1928, 15 февраля. В окончательной редакции стихотворение впервые было напечатано в четырехтомнике, т. 1, с. 25. В пятитомнике (т. 1, с. 21—22) подверглось некоторой авторской правке.

Весенние строчки (стр. 34). — Впервые — в газете Белорусского военного округа «Красноармейская правда», 1927, 25 марта. В первоначальном варианте под этим общим заголовком публиковалось еще одно стихотворение: «Помню — ветер пригонял на крышу...», в дальнейшем не печатавшееся.

Матери («Я помню осиновый хутор...») (стр. 35). — Впервые — в газете «Юный товарищ», 1927, 27 апреля, обращено к матери поэта, Марии Митрофановне Твардовской (1888—1965). Там же — первая критическая статья о творчестве Твардовского: Дм. Осин. Александр Твардовский (Литературно-творческий этюд), и первый фотопортрет Твардовского.

Родная картина (стр. 36). — Впервые — в газете «Юный товарищ», 1927, 11 мая. Посмертная публикация сделана М. И. Твардовской в журнале «Юность», 1975, № 7, с. 69, в подбор-

ке: «Александр Твардовский. Юношеские стихи». Печатается по тексту газеты.

Ночной сторож (стр. 37). — Впервые — в газете «Юный товарищ», 1927, 28 декабря. Перед концовкой была строфа, опущенная в книжных публикациях.

Перевозчик (стр. 38). — Впервые — в газете «Юный товарищ», 1928, 17 марта.

Уборщица (стр. 39). — Впервые — в газете «Красноармейская правда», 1928, 15 апреля, объединенное под общим заголовком «Три человека» со стихотворениями «Ночной сторож» и «Перевозчик».

Матросу (стр. 40). — Впервые, под названием «Краснофлотец», — в газете «Красный черноморец» (Севастополь), 1928, 29 июля, где стихотворение имело еще две строфы. Написано во время поездки с молодым смоленским поэтом Сергеем Фиксиным в Крым. Воспоминания об этой поездке см. в статье С. Фиксина «Первая даль поэта». — «Литературный Киргизстан», 1972, № 5, с. 114—123 и 1973, № 1, с. 102—112. Время и место написания («Севастополь. 28 г.») указаны автором при повторной публикации стихотворения в газете «Брянский рабочий», 1928, 5 августа.

Думы о далеком (стр. 41). — Впервые — в газете «Красный черноморец», 1928, 7 октября. Посмертная публикация под названием «Севастопольские стихи» сделана М. И. Твардовской в журнале «Юность», 1975, № 7, с. 70. Печатается по тексту газеты.

Поезда (стр. 42). — Впервые — в газете «Брянский рабочий», 1928, 18 ноября. Печатается по тексту четырехтомника, т. 1, с. 36.

Каникулы (стр. 44). — Впервые — в газете «Наша деревня» (Брянск), 1929, 27 января. Посмертная публикация (вариант) сделана М. И. Твардовской в журнале «Юность», 1975, № 7, с. 70. Печатается по тексту газеты.

Песня урожая (стр. 45). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1929, 8 февраля. Написано в ответ на обращение ЦК ВЛКСМ от 16 января 1929 года ко всем комсомольским организациям с призывом развернуть подготовку к Всесоюзному походу за поднятие урожайности. Началом похода было объявлено 15 февраля (см. газету «Комсомольская правда», 1929, 16 января). 3 февраля в «Комсомольской правде» появилось стихотворение В. Маяковского «Урожайный марш», а через пять дней в «Рабочем пути» — «Песня урожая» А. Твардовского. Печатается по тексту книги: С. Курдов, А. Твардовский, В. Шурыгин. На стройке

новой деревни. Москва — Смоленск, 1930, с. 16, где, сравнительно с газетной публикацией, оно значительно сокращено.

«Друг мой вовремя уехал...» (стр. 46). — При жизни автора не публиковалось. В рабочих тетрадях А. Т. Твардовского есть два рукописных варианта этого стихотворения, несколько разнящихся по тексту и по-разному озаглавленных («Дружеское стихотворение» и «Поездка моего друга»). Время написания — между маем и сентябрем 1929 года. В архиве Твардовского существует также машинописный вариант стихотворения, не имеющий названия и тоже датированный 1929 годом. По свидетельству М. И. Твардовской, его следует считать окончательным; он и публикуется в данном томе. Этот же вариант с измененной 3-й строкой, под заглавием «Поездка моего друга», опубликован М. И. Твардовской в газете «Комсомольская правда», 1975, 3 августа, в подборке «Строки ранней поры».

Яблоки (стр. 48). — Впервые — в журнале «Прожектор», М., 1929, № 35, 1 сентября, с. 12.

Лето в коммуне (стр. 50). — Впервые, под общим названием «Лето в коммуне», вместе со стихотворением «Взвешивает утренний удой...», — в журнале «Огонек», 1929, 13 октября, № 40. Под названием «Лето в коммуне», с пометой: «Москва, 1929», первое стихотворение было перепечатано в газете «Большевистский молодняк» (Смоленск), 1930, 6 апреля, а затем, под названием «Пчелы», — в журнале «Рост», 1930, № 4, апрель, вместе со статьей А. Селивановского «Барчук или пролетарский поэт?». Посмертная публикация сделана М. И. Твардовской в журнале «Юность», 1975, № 7, с. 71. Печатается по тексту журнала «Огонек».

Гостеприимство (стр. 52). — Впервые — в журнале «Октябрь», М., 1929, № 10, с. 60, и в журнале «Резец», Л., 1929, № 41, октябрь, с. 7. В книжных вариантах автором сделаны небольшие сокращения и поправки.

Четыре тонны (Рассказ бригады) (стр. 54). — Впервые — в журнале «Западная область» (Смоленск), 1930, № 3, с. 16. Печатается по тексту журнала.

Стихи о всеобуче (стр. 56). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1930, 3 сентября. Перед текстом стихотворения в редакционном вступлении сказано: «В ряде мест дома раскулаченных кулаков уже приспособлены для школьных помещений. По 81 району намечено использовать 393 кулацких дома». Печатается по тексту газеты.

...Крытая добротным желтым дором... — дор *(обл.)* — кровельная дрань из прямослойного дерева.

Тракторный выезд (Из поэмы «Путь к социализму») (стр. 57). — «Путь к социализму» — первая поэма Твардовского. Написана в мае — августе 1930 года, вышла отдельным изданием в 1931 году (А. Твардовский. Путь к социализму. Поэма. М., «Молодая гвардия», 1931). Первые отрывки из поэмы: «В одной из комнат наполовину пустого дома...» и «Дрожит оконное стекло...» — опубликованы в газете «Рабочий путь», 1930, 10 мая. При публикации указаны время и место написания: «Смоленск, апрель — май, 1930». Отрывок под названием «Тракторный выезд» опубликован в «Рабочем пути», 1930, 25 июня. В данной редакции впервые напечатан в книге: А. Твардовский. Сборник стихов (1930—1935). Смоленск, 1935, с. 5—6. В дальнейшем текст подвергался некоторым авторским сокращениям и исправлениям.

«Снег стает, отойдет земля...» (стр. 58). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — четырехтомник, т. 1, с. 52.

«Как море темнеет озимь...» (стр. 59). — Прижизненных публикаций не установлено. Публикуется впервые по рукописи.

Разлив Днепра (стр. 60). — Написано в 1933 году для школьного пособия (Соколова Л. А., Оглоблина Н. М. Краевая учебная книга для школ Западной области, 1 и 2 год обучения. Стихотворный текст А. Т. Твардовского, иллюстрации художника Ф. Ф. Лабренца. Смоленск. 1933, 45 с.) и впервые опубликовано там же (с. 33—34). Твардовский написал для этой книги 12 стихотворений о природе, быте, труде рабочих и колхозников Западной области. 4 мая 1933 года «Краевая учебная книга» была просмотрена Н. К. Крупской и комиссией Наркомпроса. Книга вышла в свет двумя стереотипными изданиями в 1933 и 1934 годах.

Лес осенью (стр. 61). — Написано в 1933 году для «Краевой учебной книги» (см. примеч. к стихотворению «Разлив Днепра») и впервые опубликовано там же (с. 25).

Гость (стр. 62). — Впервые — в журнале «Наступление» (Смоленск), 1933, № 10, с. 4—5. В 1934 году, во время поездки А. Т. Твардовского в составе бригады писателей Западной области в Минск, стихотворение было переведено С. Дорожным на белорусский язык и опубликовано в газете «Літаратура і мастацтва», 1934, 12 февраля. Это — первый перевод произведения Твардовского на другие языки. В дальнейшем текст подвергался небольшим авторским сокращениям и исправлениям.

Дегтярка или *дегтярница* (мазница) — посудина с дегтем для смазки колесных осей.

Бубашка (стр. 64). — Впервые — в журнале «Наступление», 1933, № 10, с. 6. В этой публикации и в публикациях первой половины 30-х годов были еще две строфы, а предпоследняя имела другое начало.

Начиная с издания: А. Твардовский. Стихи. М., 1937, с. 14—15, текст печатается в данной редакции с незначительной последующей авторской правкой.

«Рожь отволновалась...» (стр. 66). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — четырехтомник, т. 1, с. 64.

Дым прошел — отошло цветение: пыльца цветов ржи напоминает легкий дымок.

«Он до света вставал...» (стр. 67). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — четырехтомник, т. 1, с. 67—68.

Братья (стр. 68). — Впервые опубликовано в книге: А. Твардовский. Стихи. М., 1937, с. 49—51 (время написания было обозначено: «1933—1937»). Существенно отличалось от окончательного варианта, впервые напечатанного в пятитомнике, т. 1, с. 49—50.

Хозяин (стр. 70). — Первая публикация в газете «Рабочий путь», 1934, 6 августа (о колхознике, везущем сдавать государству хлеб нового урожая), представляла собой, в сущности, совсем другое стихотворение, из которого в настоящем тексте сохранены 8 последних строк, в свою очередь подвергавшихся некоторой авторской правке. Промежуточные варианты появились в книге: А. Твардовский. Сборник стихов (1930—1935). Смоленск, Запгиз. 1935, с. 5—6, и в четырехтомнике, т. 1, с. 71—72. Окончательный вариант впервые опубликован в пятитомнике. т. 1, с. 51—52.

«Выезжали на ночь в холодок...» (стр. 72). — При жизни автора не публиковалось. Посмертная публикация, без трех первых строф, кончая строкой: «Батя, я пойду, я поищу...», сделана М. И. Твардовской в журнале «Дружба народов», 1973, № 1, с. 72, в подборке «Из неопубликованных стихотворений». В редакционном вступлении отмечено, что стихотворение не окончено; предполагаемое последующее содержание, заключенное в скобки и изложенное прозой, принадлежит автору и взято из его рабочей тетради: «Иду не назад, а вперед по большаку, где еще не ехал. Сбился с ног. Под утро батя догнал на телеге под

городом». Записи в рабочей тетради свидетельствуют, что поэт собирался вернуться к работе над стихотворением, предполагая назвать его «Кнут». Печатается по рукописи, где имеется авторская датировка: «15.IX — 1934».

Батя — отец поэта, Трифон Гордеевич Твардовский (1881—1949).

Полет (стр. 74). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1934, 30 сентября. В дальнейшем подвергалось небольшим авторским сокращениям и правке.

Лядо (зап. и сев. диалект) — пустошь, заросль, лесок по болоту.

Товарищу (стр. 77). — Впервые, без трех начальных строф, опубликовано в газете «Рабочий путь», 1934, 12 октября. Промежуточный, значительно расширенный вариант напечатан в журнале «Наступление», 1935, № 1, с. 43—44. В данной редакции стихотворение опубликовано в книге: А. Твардовский. Стихотворения и поэмы в двух томах. М., 1954, с. 35.

Строитель (стр. 78). — Впервые — в журнале «Знамя», 1934, № 10, с. 178. С незначительной авторской правкой вошло в книгу: А. Твардовский. Сборник стихов (1930—1935). Смоленск, 1935, с. 75.

Усадьба (стр. 79). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — А. Твардовский. Сборник стихов (1930—1935). Смоленск, 1935, с. 62—63. Данный, несколько сокращенный вариант впервые напечатан в книге: А. Твардовский. Избранное. Смоленск, 1946, с. 7.

«Я иду и радуюсь. Легко мне...» (стр. 80). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1936, 6 июля.

Мужичок горбатый (стр. 81). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1937, 6 марта, и в журнале «Красная новь», 1937, № 2, с. 2 (номер сдан в набор—15.III.1937, подписан к печати—10.IV.1937). Первоначально было задумано как поэма. 6 февраля 1934 года на вечере творческого содружества, состоявшемся в Доме писателей (Минск), Твардовский читал «отрывок из своей поэмы «Мужичок горбатый» (см. «Література і мастацтва», 1934, 12 февраля, с. 1). О поэме «Мужичок горбатый», известной по отрывкам, упоминается в ряде критических статей тех лет (см.: А. Македонов. Поэтический участок областной литературы. — «Наступление», 1934, № 5—6, с. 110).

Новое озеро (стр. 84). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — А. Твардовский. Стихи. М., 1937, с. 12—13. Стихотворение написано, очевидно, во время одной из многочисленных поездок Твардовского в колхоз «Память Ленина», село Рибшево (ср. очерк «Озеро» — «Колхозная

газета», 1935, 6 июня, и рассказ «Озеро» в книге: «Колхозная Смоленщина. Сборник очерков и рассказов о колхозах и колхозниках Западной области». Смоленск, 1936, с. 33—49, а также т. 4 наст. собр. соч.).

«Тревожно-грустное ржанье коня...» (стр. 86). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — четырехтомник, т. 1, с. 83.

Костра, костерь — жесткая кожица и деревянистые волокна растений, годных для пряжи, остающиеся как отброс после их трепания и чесания.

«Счастливая, одна из всех сестер...» (стр. 87). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — четырехтомник, т. 1, с. 87.

Утро (стр. 88). — Впервые в газете «Рабочий путь», 1935, 7 января.

Смоленщина (стр. 89). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1935, 10 января.

Грузовик из Рибшева грохочет... — Село Рибшево Духовщинского района находится на севере Смоленской области. О колхозе «Память Ленина», находившемся в с. Рибшево, и его председателе Дмитрии Прасолове Твардовский писал неоднократно (см. т. 4 наст. собр. соч.).

Рассказ председателя колхоза (стр. 91). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1935, 21 марта. Между данным текстом и текстом первых публикаций имеются значительные разночтения.

Делал что-то на риге... — рига, или овин, — помещение для сушки снопов.

«С одной красой пришла ты в мужний дом...» (стр. 95). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — А. Твардовский. Стихи. М., 1937, с. 52—54, где стихотворение называлось «Радость» и содержало еще 7 строф, развивавших его тему и снятых в последующих изданиях.

Встреча (стр. 96). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1936, 8 марта. Между данным текстом и первыми публикациями есть незначительные разночтения.

Подруги (стр. 98). — Впервые, под названием «Мать и дочь», — в газете «Рабочий путь», 1936, 12 мая. Название «Подруги» дано автором при публикации в книге: А. Твардовский. Избранное. Смоленск, 1946, с. 40—41.

Катерина (стр. 100). — Впервые, под названием «Прощание», — в газете «Рабочий путь», 1936, 27 июня. С тем же назва-

нием включено в циклы «Семь стихотворений» («Красная новь», 1936, № 9, с. 113) и «Стихи о женщине» («Наступление». Смоленск, 1936, Сб. 1, с. 6—7). Название «Катерина» было дано автором при публикации в четырехтомнике, т. 1, с. 105—107. Текст, напечатанный в пятитомнике (т. 1, с. 87—88), значительно отличается от предшествующих публикаций.

...где ты явор девчонкой рвала. — Явор (*обл.*) — аир, болотное растение.

«Кружились белые березки...» (стр. 102). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1936, 6 июля.

Невесте (стр. 103). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1936, 28 августа. Первая строфа — измененный зачин раннего стихотворения «Невеста» (газета «Юный товарищ», 1927, 18 мая).

Сын (стр. 105). — Впервые, под названием «Пилот», — в газете «Рабочий путь», 1936, 5 сентября.

Размолвка (стр. 106). — Впервые—в газете «Рабочий путь», 1936, 11 сентября.

Песня (стр. 108). — Впервые — в журнале «Красная новь», 1936, № 9, с. 112—113.

Путник (стр. 110). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 115. В журнальном тексте была еще одна, четвертая строфа:

> Я девушки этой не знаю,
> Что в белом стоит у колодца,
> Но — славная, чуть озорная, —
> Она обернется, я знаю,
> И через плечо улыбнется... —

измененная и перенесенная затем в стихотворение «Шумит, пробираясь кустами...» (см. наст. том, с. 118).

«Ты робко его приподымешь...» (стр. 111). — Впервые, под названием «Первенец», в газете «Рабочий путь», 1937, 1 января.

Станция Починок (стр. 112). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1937, 2 марта.

Починок — ближайшая станция от хутора Загорье, родины А. Т. Твардовского. В настоящее время райцентр Починковского района Смоленской области.

«Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой...» (стр. 114). — Впервые, под названием «Свидание», — в газете «Рабочий путь», 1937, 8 марта, и в журнале «Красная новь», 1937, № 2, с. 159—160 (сдан в набор 14.III.1937, подписан к печати 10.IV.1937).

Рваный пиджак, кочедыг да копыл... — кочетык, кочедыг (*обл.*) — инструмент для плетения лаптей; копыл (*обл.*) — короткий брусок, вставленный в полозья и служащий опорой для кузова саней.

Ледоход (стр. 116). «Прошло пять лет. Объехав свет...» (стр. 117). — Впервые (в подборке «Лирика разных лет») — в газете «Литература и жизнь», 1958, 6 апреля.

«Шумит, пробираясь кустами...» (стр. 118). «За распахнутым окном...» (стр. 119). «Есть обрыв, где я, играя...» (стр. 120). «Что он делал, что он думал...» (стр. 121). «Столбы, селенья, перкрестки...» (стр. 122). — Впервые — в журнале «Новый мир», 1958, № 7, с. 28—31.

«Дождь надвигается внезапный...» (стр. 123). — Написано в 1936 году. Посвящено дочери поэта, В. А. Твардовской. При жизни автора не публиковалось. Посмертная публикация под названием «Дочка» сделана М. И. Твардовской в журнале «Дружба народов», 1973, № 1, с. 73. Печатается по рукописи.

«Здравствуй, сверстница и тезка...» (стр. 124). — Написано в 1936 году. При жизни автора не публиковалось. Опубликовано посмертно там же, где и предыдущее стихотворение. Печатается по рукописи.

«Не стареет твоя красота...» (стр. 125). — Впервые, под названием «Женщине», — в газете «Рабочий путь», 1937, 3 января. При последующих публикациях стихотворение подвергалось значительной авторской доработке.

В поселке (стр. 127). — Впервые — в газете «Рабочий путь», 1937, 15 марта. При публикации стихотворения в пятитомнике, т. 1, с. 131—132, автором снята заключительная строфа.

Шофер (стр. 129). — Впервые — в «Литературной газете», 1937, 1 мая.

Дорога (стр. 131). — Впервые — в журнале «Красная новь», 1938, № 1, с. 62. При публикации в пятитомнике (т. 1, с. 123—125) стихотворение сокращено автором на четыре строфы.

Дед Гордей — Гордей Васильевич Твардовский, дед А. Т. Твардовского по отцу.

Прощание (стр. 133). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 63. При публикации в пятитомнике (т. 1, с. 126—128) стихотворение сокращено автором на одну строфу и подверглось некоторой правке.

Мать и сын (стр. 135). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 63—64. При последующих перепечатках стихотворение сокращено на одну строфу.

Соперники (стр. 137). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 66.

«Погляжу, какой ты милый...» (стр. 139). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 68. При публикации в пятитомнике (т. 1, с. 121—122) автором снята концовка, повторявшая вторую строфу.

Про Данилу (стр. 140). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 66.

Как Данила помирал (стр. 144). — Впервые — в журнале «Красная новь», 1938, № 5, с. 120—121. В авторском примечании сказано: «В основу этого стихотворения положена украинская народная песня, перевод которой был сделан мною для книги «Творчество народов СССР». Упомянутый перевод под названием «Дед Данила (с украинского)» опубликован в книге: А. Твардовский. Стихи. М., 1937, с. 68—69. Стихотворение «Как Данила помирал» вместе с другими стихами о деде Даниле составили книгу: А. Твардовский. Про деда Данилу. М., 1938.

К портрету Пушкина (стр. 147). — Написано в 1937 году к столетию со дня смерти А. С. Пушкина. При жизни автора не публиковалось. Посмертная публикация сделана М. И. Твардовской в альманахе «День поэзии. 1972». М., 1972, с. 195, в подборке стихотворений А. Твардовского «Из лирики разных лет». Печатается по рукописи.

«А ты, что множество людей...» (стр. 148). Матери («И первый шум листвы еще неполной...») (стр. 149). Перед дождем (стр. 150). — Впервые — в журнале «Новый мир», 1958, № 7, с. 29—32. Первая книжная публикация — А. Твардовский. Стихи из записной книжки. 1936—1958. М., 1959, с. 6, 8, 10.

«Легко бывает вспоминать...» (стр. 151).—При жизни автора не публиковалось. Посмертная публикация сделана М. И. Твардовской в альманахе «Поэзия». М., «Молодая гвардия», 1972, с. 140—141. Под заглавием «Рубашка» вошло в книгу: А. Твардовский. Лирика. Петрозаводск, 1974, с. 67—69. Печатается по рукописи, где имеется авторская датировка: «26.II—38. Малеевка», и, перед публикуемым текстом, еще две строки:

А раз в одной рубашке с ним
На ярмарке форсили.

Стихотворение является фрагментом из не осуществленной Твардовским большой поэтической вещи.

Ивушка (стр. 153). — Впервые — в журнале «Красная новь», 1938, № 5, стр. 118.

Ровно выложив чело... — чело *(обл.)* — наружное отверстие русской печи.

На свадьбе (стр. 156). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 119—120. При перепечатке в пятитомнике (т. 1, с. 144—147) стихотворение сокращено автором на четыре строфы.

Сверстники (стр. 159). — Впервые, под названием «Сверстнику», там же, где и предыдущее стихотворение, с. 122.

...Над этою криницей... — криница *(южн., зап.)* — ключ, родник.

«Мы на свете мало жили...» (стр. 161). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 122.

Мать и дочь (стр. 162). — Впервые — в газете «Правда», 1938, 26 июня. При перепечатке стихотворения в книге: А. Твардовский. Сельская хроника. М., 1939, с. 42—44, автором снята одна строфа.

Полина (стр. 165). — Впервые — в газете «Правда», 1938, 6 июля. В тексте газетной публикации была концовка, повторявшая первую строфу и снятая автором при перепечатке стихотворения в пятитомнике (т. 1, с. 176—177).

...Летчица по имени Полина... — П. Д. Осипенко (1907—1939), командир гидросамолета «МП-1», на котором был совершен беспосадочный перелет Севастополь — Архангельск.

Были с ней ее подруги смелые... — участницы перелета: В. Ф. Ломако и М. М. Раскова.

Случай на дороге (стр. 167). — Впервые, под названием «Случай в дороге», — в «Литературной газете», 1938, 10 июля.

...Обволокло по ступицы колеса... — ступица — центральная часть колеса.

Еще про Данилу (стр. 170). — Впервые — в журнале «Красная новь», 1938, № 8, с. 49—53. При перепечатке в книге: А. Твардовский. Про деда Данилу. М., 1938, с. 3—8, автором добавлена одна строфа.

...Как глухое лядо... — лядо — см. примеч. к стихотворению «Полет».

Дед Данила в бане (стр. 180). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — А. Твардовский. Про деда Данилу, с. 9—11.

...Пахнут каменкой каленой... — каменка — сложенная из камня печь в деревенской бане.

Семья кузнеца (стр. 182). — Впервые — в газете «Правда»,

1938, 7 сентября. В тексте газетной публикации не было 16-й и 17-й строф.

Про теленка (стр. 185). — Впервые, под названием «О теленке», — в журнале «Красная новь», 1938, № 10, с. 107—110. Под названием «Теленок» вошло в книгу: А. Твардовский. Сельская хроника. 1937—1938. М., 1939, с. 57—64, где автором добавлена еще одна строфа и в тексте сделаны некоторые изменения.

За тысячу верст... (стр. 190). — Публикаций в периодике не установлено. Первая книжная публикация — А. Твардовский. Про деда Данилу, с. 34—39.

Сельское утро (стр. 194). — Впервые, под названием «Утро», в газете «Литература и жизнь», 1958, 6 апреля.

«Звезды, звезды, как мне быть...» (стр. 195). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение.

Дети (стр. 196). — Впервые — в журнале «Новый мир», 1958, № 7, с. 32.

«Сын мой уснул, разметавшись...» (стр. 197). — Написано в 1938 году. При жизни автора не публиковалось. Посмертная публикация, под названием «Сын», сделана М. И. Твардовской в журнале «Дружба народов», 1973, № 1, с. 74. Стихотворение посвящено сыну поэта — Саше. Осенью 1938 года Твардовский писал С. Я. Маршаку: «У нас большое горе: умер наш сынок Саша. Мы только что вернулись из Смоленска, хоронили его, там он умер от дифтерита. Первая телеграмма о том, что он заболел, пришла в 10—11 часов 10-го, а вторая, что умер, — в 12 часов» (Письмо от 12.X.38. — «Нева», 1975, № 7, с. 165). Печатается по рукописи.

На старом дворище (стр. 198). — Впервые, под названием «Последний день на хуторе», — в журнале «Звезда», 1940, № 3—4, с. 76—77. Текст первой публикации значительно отличался от окончательной его редакции. Включая стихотворение в свою книгу «Загорье», М., 1941, автор разбил его на два самостоятельных стихотворения — «Печка» и «Прощание», объединив их под общим заглавием «На старом дворище». Позднее, пополнившись тремя новыми строфами и подвергшись авторским исправлениям, стихотворение «Печка» в окончательном варианте получило заглавие «На старом дворище» и вошло в книгу: А. Твардовский. Избранное. Смоленск, 1946, с. 123—124.

...Костра сухая с потолка... — см. примеч. к стихотворению «Тревожно-грустное ржанье коня...».

...хоть вокруг ни сошки нету... — сошка — подпорка, подставка, жердь.

На хуторе Загорье (стр. 200). — Впервые, вместе со стихотворением «Друзьям» под общим заголовком «Загорье», — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 77—79. Оба стихотворения связаны с поездкой поэта на родину, в Смоленщину, летом 1939 года. При книжных переизданиях стихотворение «Загорье» сокращено на 4 строфы. Строфы 10—15 появились при публикации его в книге: А. Твардовский. Загорье. М., 1941, с. 11—16. Между текстом первой публикации и окончательным есть и другие, менее значительные расхождения.

Друзьям (стр. 204). — Время и место публикации — см. примеч. к предыдущему стихотворению. При перепечатке в книге А. Твардовского «Загорье», с. 17—19, стихотворение подверглось значительному авторскому сокращению и доработке.

Поездка в Загорье (стр. 206). — Впервые, под названием «Приезд», — в журнале «Новый мир», 1940, № 9, с. 57—59. При публикации стихотворения в пятитомнике (т. 1, с. 207—210) автором снята одна строфа и сделаны некоторые изменения.

И уже на загнетке... — загнетка — место в русской печи, куда загребают жар.

«Рожь, рожь... дорога полевая...» (стр. 212). — Впервые, под названием «Рожь», — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 61.

Женитьба шофера (стр. 213). — Впервые, под названием «Про шофера», — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 61.

Дед Данила в лес идет (стр. 215). — Впервые — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 61—62.

...лист хорош кленовый — хлеб сажать хозяйке в печь. — При выпечке хлеба в русской печи под тесто иногда подкладывали крупные листья (капустный, свекольный, кленовый и др.). Это предохраняло хлеб от золы и придавало ему особый вкус.

«День пригреет — возле дома...» (стр. 218). — Впервые, под названием «Осень», — там же, где и предыдущее стихотворение, с. 63. При последующих перепечатках автором вносились в текст незначительные изменения.

Ленин и печник (стр. 219). — Впервые, с подзаголовком «По преданию», — в журнале «Красная новь», 1940, № 4, апрель, с. 19—21.

«Обозначение «По преданию» наводит читателей на мысль, что мой рассказ в стихах о двух любопытных встречах Ленина с крестьянином-печником, жителем Горок или другого ближай-

шего селения, обязан своим происхождением изустной народной легенде или были, когда-нибудь кем-то записанной.

Так оно и есть. Стихотворение основано на опубликованной в книге «Творчество народов СССР» (изд. ред. «Правды», М., 1937) фольклорной записи под заглавием «Печник»... Стихотворение было задумано и начато мною в год издания книги «Творчество народов СССР» (вновь я обратился к этой вещи и закончил ее в 1940 году и тогда же впервые опубликовал в «Ленинградской правде»)» (см.: А. Твардовский. О стихотворении «Ленин и печник». Пятитомник, т. 5, с. 126—127, и т. 5 наст. изд.).

В «Ленинградской правде» за 1938—1940 годы этой публикации не обнаружено. Не зарегистрировано это стихотворение и «Летописью газетных статей» за 1938—1940 годы. При первой публикации дата написания обозначена автором «1939—1940», датировка в пятитомнике: «1938—1940».

«Зашел я в дом, где жил герой...» (стр. 224). — Впервые, под названием «Мать», — в журнале «Новый мир», 1940, № 9, с. 61—62.

«Садик в поле открытом...» (стр. 226). — При жизни автора не публиковалось. Посмертная публикация сделана М. И. Твардовской в альманахе «День поэзии. 1972», с. 195. Печатается по рукописи, где два, за исключением отдельных слов, идентичных варианта датированы автором: «10.VI—40» и «23.VI—40».

СТРАНА МУРАВИЯ

(стр. 229)

О том, как возник замысел поэмы, ставшей не только «главной книгой» довоенного Твардовского, но и одним из самых значительных произведений советской поэзии 30-х годов, автор рассказал в специальной статье «О «Стране Муравии»:

«Началом своей работы над «Муравией», первым приступом к ней я считаю 1 октября 1934 года, когда я занес в свой дневник следующую выписку из появившейся в печати речи Фадеева:

«Возьмите 3-й том «Брусков» — «Твердой поступью». Там есть одно место о Никите Гурьянове, середняке, который, когда организовали колхоз, не согласился идти в колхоз, запряг клячонку и поехал на телеге по всей стране искать, где нет индустриализации и коллективизации. Он ездил долго, побывал на Днепрострое, на Черноморском побережье, все искал места, где нет колхоза, нет индустрии, — не нашел... Оказалось, что у него

нет другого пути, кроме колхозного, и он вернулся к себе в колхоз в тот самый момент, как председатель колхоза возвращался домой из какой-то командировки на аэроплане. Все это рассказано Панферовым на нескольких страничках среди другого незначительного материала. А между тем можно бы всего остального не писать, а написать роман именно об этом мужике, последнем мелком собственнике, разъезжающем по стране в поисках угла, где нет коллективного социалистического труда, и вынужденного воротиться в свой колхоз — работать со всеми. Если внести сюда элементы условности (как в приключениях Дон-Кихота), заставить мужика проехать па клячонке от Черного моря до Ледовитого океана и от Балтийского моря до Тихого океана, из главы в главу сводить его с различными народностями и национальностями, с инженерами и учеными, с аэронавигаторами и полярными исследователями, — то, при хорошем выполнении, получился бы роман такой силы обобщения, который затмил бы «Дон-Кихота», ибо превращение ста миллионов собственников в социалистов более серьезное дело, чем замена феодалов буржуазией».

...Я очень горячо воспринял возможность этого сюжета, взятого из книги одного писателя и изложенного в таком духе другим писателем, для выражения того личного жизненного материала, которым я располагал в избытке, для осуществления настоятельной потребности, одолевавшей тогда меня: рассказать, что я знаю о крестьянине и колхозе» [1].

Едва ли не самым ценным в этой «подсказке» был совет относительно условности, шедший навстречу творческим поискам самого Твардовского в эти годы. Немало и достаточно серьезно, с реалистической точностью написав к тому времени о различных чертах и сторонах колхозного строительства, поэт вместе с тем не мог не чувствовать, что его произведениям недоставало той внутренней масштабности, которая отвечала бы грандиозному историческому размаху «великого перелома», с одной стороны, и природе его собственного дарования — с другой. В условном сюжете поэт как раз и увидел возможность обобщенного, крупномасштабного поэтического решения темы «крестьянин и колхоз», какого до того момента в литературе еще не было.

О том, насколько свободно, творчески подошел Твардовский к осуществлению «подсказки» А. А. Фадеева, говорит уже то

---

[1] А. Т. Твардовский. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 2. М., 1966, с. 350—351.

обстоятельство, что в его поэме не оказалось ни дальних краев, ни «различных народностей и национальностей» (кроме хорошо знакомых Моргунку цыган), ни инженеров или полярных исследователей — словом, ничего такого, чего герой не мог бы видеть и испытать в своей родной деревне и ее ближайших окрестностях. Решительно сузив внешний, «демонстрационный» план повествования, поэт переключил свой интерес главным образом в план внутренний, в план чувств, переживаний, жизненного выбора крестьянина эпохи коллективизации. Хотя предопределенность этого выбора и вносила в поэму элемент известной заданности, но глубина проникновения в душу и характер героя, непредвзятость и серьезность в передаче его противоречивых чувств на распутье «великого перелома» превращали образ Никиты Моргунка в художественный тип большой новизны и обобщающей силы.

Как можно судить по письмам М. В. Исаковскому (см. т. 6 наст. изд.), на протяжении первой половины 1935 года Твардовский напряженно и с подъемом работает над поэмой. В ходе работы уточняются первоначальные планы: «Между прочим, в поэме не будет того пожара, о котором я тебе рассказывал. Решил без пожара обойтись. А хочу поэму закончить хорошей свадьбой... Свадьба пишется очень трудно. Опасно впасть в тот легкогазетный тон описания этого торжества, который уже есть в лит-ре...» (письмо от 10 июля).

К 19 июля поэма была вчерне закончена, и ее первоначальный вариант передан М. В. Исаковским А. М. Горькому. Отзыв оказался неблагоприятным. Мужественно встретив критику, поэт продолжал работать над своим произведением. «Муравию» я все доделываю, — говорится в письме Исаковскому от 24 сентября 1935 года. — Написал новую главу о Фролове, дающую как будто удачно образ «положительного героя». Теперь осталось подчистить «Свадьбу».

В первых числах октября Твардовский отсылает «Страну Муравию» в журнал «Красная новь», еще в апреле (по рекомендации М. В. Исаковского) запросивший его об этом; в ноябре Твардовского вызывают в Москву для заключения договора. «Поэму нужно дорабатывать, — пишет он Исаковскому по возвращении в Смоленск, — но, собственно говоря, ничего толком не указали; это уже я сам раскапываюсь» (письмо от 9 ноября 1935 г.).

В конце ноября доработка была закончена. 21 декабря состоялось обсуждение поэмы в Москве в областном секторе Союза

писателей СССР совместно с редакцией «Красной нови». В 4-й (апрельской) книжке журнала за 1936 год «Страна Муравия» была опубликована. Отдельные отрывки из нее начали печататься значительно раньше. Отрывок под названием «Плясовая» был опубликован в газете «Рабочий путь», 1935, 28 марта; под названием «Перепляс» он был включен в книгу Твардовского «Сборник стихов (1930—1935)», Смоленск, 1935. Печатались также отрывки «Фролов» («Рабочий путь», 1935, 30 ноября), «Последний поп» («Рабочий путь», 1936, 1 января). Первое отдельное издание поэмы вышло в Смоленске летом 1936 года. Почти одновременно она была выпущена в Москве издательством «Советский писатель». Единодушно высокая оценка «Страны Муравии» читателями и критикой послужила основанием для ряда ее переизданий в ближайшие годы: Гослитиздат, М., 1937; «Советский писатель», М., 1939; Смолгиз, 1940; Гослитиздат, М., 1940. В 1941 году за эту поэму Твардовскому была присуждена Государственная премия 2-й степени.

Работа Твардовского над поэмой после ее опубликования касалась лишь отдельных мест и носила преимущественно редакторский характер. Она прошла два основных этапа: правка в изданиях 30-х годов и, после большого перерыва, на протяжении которого поэма многократно переиздавалась почти без изменений, исправления при подготовке пятитомника. При этом правка как таковая, то есть замена отдельных слов, строк и целых строф, встречается сравнительно редко (ср. в четырехтомнике строфы 5-ю из главы 9, 16-ю из главы 10, 32-ю из главы 13). Основным направлением авторской само{}редактуры явились сокращения. Еще в издании 1937 года исключению подверглись не только некоторые неточные по смыслу и стилистически неловкие строфы, но и такое, казалось бы, вполне удачное место из главы 15:

— А яблоньки, —толкует гость,
Вздохнув исподтишка, —
Как вешки на поле небось
Торчат без корешка?..

Подходит ближе человек —
Нет! вроде сад как сад.
Измерил четвертью побег:
«А что ты думал, брат!..»

Счел по рядам деревья. Стих.
И вдруг меняет речь:
— А вот зимой от зайцев их —
Ох! — надобно беречь.

По-видимому, поэт решил, что подобная чрезмерная подозрительность не в характере Моргунка и выглядит утрированной.

При подготовке последнего прижизненного собрания сочинений Твардовский сделал в поэме еще несколько сокращений, с особой наглядностью показывающих меру его авторской требовательности. В главах 17 и 18 опущены по две строфы. Снят и зачин последней 19-й главы, сохранявшийся в большинстве предыдущих изданий:

Чуть свет — стоит в оглоблях конь
Под расписной дугой,
И крепко стянута супонь
Хозяйскою рукой.

И все давно готово в путь, —
Вожжою тронь слегка...
И хоть бы вышел кто-нибудь,
Окликнул Моргунка...

Но тихо. День еще далек;
И люди спят кругом.
И мальчик спит без задних ног,
Раскинувшись ничком.

Он спит да спит. На кой ему
Муравские края...
И снова ехать одному,
Чудить, тоску тая...

Засунул кнут, бочком присел
И тронул Моргунок,
И след зеленый по росе
До поворота лег...

Высокое поэтическое качество этих стихов очевидно, однако Твардовский, по всей вероятности, счел их необязательными, замедляющими шаг повествования, а с другой стороны, привязывающими эпилог (решение Моргунка вернуться) к предыдущей сцене колхозной свадьбы, после которой герою, получалось, уже словно бы и не о чем больше думать.

Наконец, в пятитомнике поэт исключил те строки эпилога (слова старика-богомола), которые цитировались чуть ли не всеми рецензентами, а затем исследователями поэмы в качестве прямого выражения ее основной идеи:

Зачем она, кому она,
Страна Муравская нужна,
Когда такая жизнь кругом,
Когда сподручней мне —
И торкнул в землю посошком —
Вот в этой жить стране?

Можно полагать, что автор счел эти стихи не слишком отвечающими как общему поэтическому строю произведения, так и характеру персонажа, в уста которого они вложены.

Наряду с сокращениями поэтом были впоследствии восстановлены по рукописи и внесены в книжные издания некоторые стихи, не попавшие в журнальную публикацию. Уже в 1939 году, при переиздании поэмы издательством «Советский писатель», восстанавливаются строфы: 31-я («Дескать, мы ж друзья-дружки...») из главы 2, 22-я («Дружили двадцать лет они...») из главы 3, 2-я («Ни крыши целой, ни избы...») и 3-я («Встает, медлителен и глух...») из главы 14, а также первая половина строфы 16 из главы 9 («Вот при одной коровке...»). Подготавливая пятитомник, Твардовский восстановил еще 8 строк из главы 2 («Их не били, не вязали...»).

Вся эта авторская редактура ни в коей мере не преследовала цель изменить звучание поэмы, приблизить его к взглядам и творческим принципам автора более поздних лет (см., в частности, письмо к И. И. Щ—ву от 6 марта 1959 г., в кн.: А. Твардовский. О литературе. М., «Современник», 1973, а также в т. 6 наст. собр. соч.); она диктовалась лишь стремлением сделать текст наиболее адекватным изначальной художественной задаче.

...Справляй престол!.. (с. 232). — «Престол» — здесь в значении «престольный праздник», то есть связанный с тем религиозным преданием или личностью святого, которым обязана своим названием данная церковь.

Исус Христос по воде ходил... (с. 233). — Согласно библейской легенде, Христос спас своих учеников, терпевших в лодке бедствие, пройдя к ним по морю (Евангелие от Марка, гл. 6).

...С пчелиным «хлебом» пополам... (с. 238). — «Пчелиный хлеб», или «перга», — корм для пчел, цветочная пыльца, уложенная пчелами в ячейки сот и залитая медом.

Посеешь бубочку одну... (с. 241). — Бубочка — от белорусского разговорного «бубачка» (зернышко, горошина).

...*И дышит, как дежа* (с. 243). — Дежа — кадка, в которой квасят и месят тесто на хлеб.

Нет купели, есть камья... (с. 246). — Камья *(обл.)* — долбленая кадочка или корытце.

Тут и соточка... (с. 246). — Сотка *(устар.)* — мера крепких спиртных напитков в одну сотую ведра.

...*На тринадцатом году...* (с. 250) — то есть в 1930 году, на тринадцатом году Советской власти.

И, упершись в грядки, миром... (с. 262). — Грядки — края тележного кузова, образуемые двумя продольными жердями.

...*И страх, и труд, и гуж* (с. 263). — «Страх» *(сокр.)* — обязательное страхование, «труд» и «гуж» — трудовая и гужевая повинности. Моргунок предъявляет бумаги, удостоверяющие выполнение всех повинностей крестьянина-единоличника.

Единый — семь с полтиной... (с. 263). — Имеется в виду единый сельскохозяйственный налог.

...*Касплянский сельсовет...* (с. 263). — Имеется в виду селение Каспля на р. Каспля к северу от Смоленска.

Обоих — в Гепею (с. 274). — «Гепею» *(простореч.)* — ГПУ (Главное политическое управление).

...*Играет оберучь* (с. 288). — двумя руками одновременно.

ПЕРЕВОДЫ

Переводы не занимали в творчестве Твардовского значительного места, и обращался он к ним лишь эпизодически. Так в 1936—1937 годах, после завершения «Страны Муравии», им были сделаны переводы из Т. Г. Шевченко, из украинской и белорусской народной поэзии, во второй половине 40-х годов — из Ивана Франко и некоторых белорусских поэтов.

Выбор украинской и белорусской поэзии не являлся для Твардовского случайным. Тут имела значение близость чисто географическая и, соответственно, душевная: «шевченковский» Днепр был в равной мере главной рекой и его родного, смоленского края, «нашим Днепром», вошедшим во многие стихи поэта; что же касается Белоруссии, то наличие в смоленском говоре ряда черт белорусского языка, общность природы, деревенского быта, народной поэзии сопредельных белорусских и смоленских мест столь живо ощущались поэтом, что он и самого себя считал как бы отчасти белорусом. Твардовский хорошо знал белорусские народные

песни, любовь к ним отразилась и в его собственном творчестве (см., например, очерк «Лявониха» из книги «Родина и чужбина» в т. 4 пятитомника и в т. 4 наст. собр. соч.).

Взгляды Твардовского на искусство поэтического перевода наиболее широко выражены в его статье «О поэзии Маршака». Там, в частности, говорится:

«Русская школа поэтического перевода, начиная с Жуковского и Пушкина и кончая современными советскими поэтами, дает блистательные образцы переводов лучших произведений поэзии иных языков... При восприятии таких поэтических произведений, получивших свое, так сказать, второе существование на нашем родном языке, мы меньше всего задумываемся над тем, насколько они точны в отношении оригинала... Памятные слова на этот счет сказал И. С. Тургенев: «Чем более перевод нам кажется не переводом, а непосредственным, самобытным произведением, тем он превосходнее... Такой перевод не может быть неверным...» И, конечно, наоборот: чем меньше иллюзии непосредственного, самобытного произведения дает нам перевод, тем вернее будет предположить, что перевод этот неверен, далек от оригинала» (пятитомник, т. 5, с. 162—164; см. также т. 5 наст. собр. соч. Слова Тургенева взяты из его статьи, без заглавия, о «Фаусте» Гете в переводе М. Вронченко см.: Собр. соч. в 12-ти томах. т. 11. М., Гослитиздат, 1956, с. 47).

Приведенная выдержка дает ключ к пониманию критериев и творческих принципов Твардовского-переводчика. Лучшие из его работ, к числу которых в первую очередь следует отнести «Завещание» и другие переводы из Шевченко, в полной мере удовлетворяют этим высоким критериям, представляют яркий пример сочетания живой естественности стиха, творческой свободы по отношению к «букве» оригинала с точностью в передаче его поэтической сути.

Переводческая работа Твардовского оказала определенное воздействие и на его собственное творчество. Наиболее очевидное свидетельство тому — известный цикл стихов про деда Данилу, начало которому было положено переводом украинской народной песни «Дед Данила» (см. выше примеч. к стихотворению «Как Данила помирал»).

В настоящем собрании сочинений избранные переводы Твардовского впервые сведены воедино, что дает читателю возможность составить о Твардовском-переводчике более или менее целостное представление.

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Тарас Григорьевич Шевченко (1814—1861) — великий украинский поэт, художник, революционер-демократ.

«Течет вода в сине море...» (стр. 317). — Перевод Твардовского впервые — в журнале «Красная новь», 1939, № 1, с. 80. Печатается по тексту книги: Тарас Шевченко. Кобзарь. Избранные стихотворения и поэмы. М., «Художественная литература», 1964, с. 36.

Думка («Тяжко, тяжко жить на свете...») (стр. 318). — Перевод Твардовского впервые — там же, где и предыдущий, с. 37—38. В журнале стихотворение не озаглавлено. Печатается по тексту книги: Тарас Шевченко. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 1. М., «Художественная литература», 1964, с. 44—45.

Тополь (стр. 320). — Перевод Твардовского впервые — в книге: Т. Г. Шевченко. Стихотворения («Библиотека поэта. Малая серия»). Л., «Советский писатель», 1939, с. 50—57. Печатается по тексту книги: Тарас Шевченко. Стихотворения и поэмы («Библиотека поэта. Малая серия». Изд. 3-е). М. — Л., «Советский писатель», 1964, с. 103—110.

Чумак; чумаки — украинские крестьяне, ездившие на волах в Крым и на Дон за солью и вяленой рыбой.

«Думы мои, думы мои...» (стр. 326). — Перевод Твардовского впервые — в газете «Рабочий путь», 1939, 6 февраля. Печатается по тексту книги: Т. Г. Шевченко. Избранные произведения. Под редакцией Корнея Чуковского. М. — Л., Детиздат, 1939, с. 59—62.

Н. Маркевичу (стр. 329). — Перевод Твардовского — в журнале «Красная новь», 1939, № 1, с. 80—81. Печатается по тексту журнала.

Н. Маркевич — Маркевич Н. А., знакомый Шевченко, украинский помещик, выступавший в печати как поэт и этнограф.

Из поэмы «Гайдамаки» (Вступление) (стр. 331).— Историческую основу поэмы составляет крестьянское восстание на правобережной Украине в 1768 году (так называемая «колиивщина»), вызванное жестоким национальным и религиозным угнетением массы украинского крестьянства со стороны польской шляхты. Шевченко воспользовался для своей поэмы главным образом народными преданиями и рассказами, слышанными в детстве. Эти предания тесно связаны в поэме с рассказом о судьбе одного из рядовых участников восстания, бедняка Яремы, прозванного Галайдою (то есть бездомным скитальцем).

Твардовский начал работу над переводом поэмы летом 1938 года. Первый отрывок из нее — «Кровавый пир» (гл. VII) был опубликован в газете «Рабочий путь», 1939, 8 февраля. Перевод всей поэмы — в журнале «Знамя», 1939, № 3, с. 73—107. В переводе Твардовского поэма входила в два пятитомных Собрания сочинений Т. Г. Шевченко на русском языке (М., Гослитиздат, 1954—1955 и 1964—1965) и в отдельные издания его произведений. Как самостоятельное стихотворение настоящая часть поэмы в переводе Твардовского вошла в книгу: Тарас Шевченко. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта. Малая серия». М. — Л., 1964, с. 120—129. Печатается по тексту этой книги.

Василий Иванович Григорович — конференц-секретарь Академии художеств, сыгравший видную роль в освобождении Шевченко из крепостной неволи; с этим связано посвящение поэмы.

Кухоль — глиняный кувшин, кубок, кринка.

Тма, мна знаю, а оксию не знаю доныне... — Имеется в виду слоговое обучение грамоте по старославянским церковным букварям. *Оксия* — название ударения в церковнославянской азбуке.

Есть у меня батько славный... — Здесь и ниже имеется в виду В. И. Григорович.

Сова (стр. 338). — Перевод Твардовского впервые опубликован в «Литературной газете», 1938, 15 сентября, и получил высокую оценку критики: «Твардовский словно создан для переводов Шевченко. То народное, некрасовское, что есть в его творчестве, чрезвычайно пригодилось ему для передачи шевченковских интонаций и ритмов. В его великолепном переводе «Совы» так и слышится подлинный шевченковский голос» (К. Чуковский. За советский стиль переводов Шевченко. — «Красная новь», 1939, № 3, с 205). Печатается по тексту книги: Тарас Шевченко. Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэта. Малая серия»). М. — Л., 1964, с. 137—145.

Жупанок — уменьш. от жупан *(польск.)* — верхняя мужская одежда, род полукафтана.

Талан — судьба, удача, счастье.

Завещание (стр. 345). — Перевод Твардовского впервые — в газете «Красный флот», 1939, 6 марта, затем в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 1, с.115 (сдан в набор 4.III.1939, подписан к печати 14.III.1939), в подборке, включавшей украинский текст стихотворения и семь его переводов на русский язык. Кроме перевода Твардовского, даны переводы И. Белоусова, Ф. Сологуба, А. Безыменского, В. Клюевой, В. Росселься, Н. Тихонова. Печа-

тается по тексту книги: Тарас Шевченко. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 1. М., «Художественная литература», 1964, с. 371.

N. N. («Тогда мне лет тринадцать было...») (стр. 346). — Стихотворение посвящено подруге детских лет Шевченко — Оксане Коваленко. Перевод Твардовского впервые — в журнале «Красная новь», 1939, № 1, с. 82—83. Печатается по тексту книги: Тарас Шевченко. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 2. М., 1965, с. 35.

...Посконь дергала родная... — посконь *(обл.)* — род конопли с тонким стеблем, из которой вырабатывается тонкое волокно.

«Как у той у Катерины...» (стр. 348). — Перевод Твардовского — в книге: Т. Г. Шевченко. Избранные произведения. Под редакцией Корнея Чуковского. М. — Л., Детиздат, 1939, с. 250—253.

Вдовиченко — сын вдовы.

Козлов — старинное название города Евпатории.

И в самых радостных краях... (стр. 350). — Перевод Твардовского впервые — в книге: Тарас Шевченко. Избранные произведения. Л., Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1952, с. 172—174. Печатается по тексту книги: Тарас Шевченко. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 2. М., 1965, с. 211—213.

ИВАН ФРАНКО

Иван Франко (Иван Яковлевич Франко, 1856—1916) — выдающийся украинский писатель, публицист, ученый, критик и общественный деятель.

Михайло (стр. 353). — Перевод Твардовского впервые опубликован в книге: Иван Франко. Избранные сочинения. М., 1948, т. 1, с. 172—173. Печатается по тексту книги: Иван Франко. Стихотворения и поэмы. Рассказы. («Библиотека всемирной литературы», т. 121). М., 1971, с. 64—65.

Стихотворение «Михайло» — четвертое стихотворение цикла «Галицкие картинки» из книги «Вершины и низины».

К шинкарю он шел... — шинкарь — содержатель шинка (кабака).

По селам (стр. 355). — Настоящая публикация представляет собой II—IX главы цикла «По селам» из книги «Мой измарагд» (1898), переизданной в 1911 году под названием «Старое и новое». Перевод Твардовского впервые опубликован в книге: Иван Франко. Избранные сочинения. М., 1948, т. 1, с. 319—326. Печатается по тексту книги: Иван Франко. Стихотворения и

поэмы («Библиотека поэта. Большая серия». Изд. 2-е). Л., 1960, с. 200—207.

Кайком — кий, кайок *(обл.)* — палка с утолщением на конце, посох.

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

ЯНКА КУПАЛА

Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич, 1882—1942) — выдающийся белорусский советский поэт, народный поэт БССР.

С новой думой (стр. 363). — Стихотворение написано в 1939 году в связи с воссоединением Западной Белоруссии с БССР. Тогда же переведено на русский язык Твардовским и впервые опубликовано в красноармейской газете «Часовой родины», 1939, 27 октября, под названием «Освобожденному брату». Это же заглавие сохранено и при включении стихотворения в «Антологию белорусской поэзии», М., 1952. Под авторским заглавием «С новой думой» напечатано в книге: Янка Купала. Избранные произведения в двух томах, т. 2. М., 1953, с. 213—214.

Печатается по тексту книги: Янка Купала. Избранное («Библиотека поэта. Большая серия». Изд. 2-е). Л., 1973, с. 585—586.

МИКОЛА ЗАСИМ

Микола Засим (Николай Артёмович Засим, 1908—1957) — белорусский советский поэт. До воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 году батрачил, работал на лесопильном заводе, где вступил в подпольную комсомольскую организацию, а позднее — в коммунистическую партию. Стихи начал писать с 1925 года. После воссоединения был избран председателем сельсовета в своей родной деревне Шени. Выпустил четыре книги стихов.

Твардовский был первым переводчиком произведений Миколы Засима на русский язык. Эти переводы, с предисловием Твардовского, впервые опубликованы в журнале «Новый мир», 1949, № 4, с. 173—175, в подборке «Стихи Миколы Засима». «Среди новых имен белорусской поэзии имя Миколы Засима представляет, на наш взгляд, отдельный и, может быть, специальный интерес... У него свой голос, свой стих, своя тема, своя органически сложившаяся манера письма. И, может быть, слово «письма» здесь менее всего подходит, потому что очевидной особенностью этой

манеры является близость ее к образцам устного народного творчества, к жанру современной, насыщенной острополитическим содержанием притчи, басни, короткой юморески, частушки, песни»[1]. Все шесть стихотворений Засима, включая и стихотворение «Поэту», не публиковавшееся в «Новом мире», печатаются по тексту книги: «Антология белорусской поэзии». М., 1952, с. 343—345.

МИКОЛА СУРНАЧЕВ

Микола Сурначев (Николай Николаевич Сурначев, 1917—1945) — белорусский советский поэт, работал в редакциях республиканских газет «Звезда», «Красное знамя». Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Кавказа, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. Погиб на фронте в мае 1945 года.

В потоптанном жите (стр. 371). — Стихотворение написано в 1941 году на Западном фронте. Перевод Твардовского опубликован в книге: «Антология белорусской поэзии». М., 1952, с. 475.

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

Аркадий Александрович Кулешов (р. 1914) — белорусский советский поэт, народный поэт БССР.

Крылья (стр. 372). — Стихотворение написано в 1945 году. Перевод Твардовского впервые опубликован в газете «Известия», 1945, 28 октября. Печатается по тексту книги: Аркадий Кулешов. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1968, с. 84—85.

ИЗ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Сына провожая *(с украинского)* (стр. 374) — Записано в сентябре 1936 года со слов И. Кузьменко из с. Руновщина Зачепиловского района Харьковской обл. УССР. Перевод впервые— в газете «Правда», 1937, 9 сентября, без указания его автора. Печатается по тексту книги: А. Твардовский. Дорога. М., Гослитиздат, 1938, с. 98.

Ой, как небо потемнело *(с украинского)* (стр. 375).— Записано в г. Никополе Днепропетровской обл. УССР. Перевод,

---

[1] А. Твардовский. О литературе. М., «Современник», 1973, с. 203.

без указания его автора, впервые — в книге «Творчество народов СССР». М., Изд-во «Правда», 1937, с. 181. Печатается по тексту книги: А. Твардовский. Дорога, с. 97.

Песня старика *(с украинского)* (стр. 376). — Записано в с. Кочуринец Болочисского района Каменец-Подольской обл. УССР со слов Дениса Кметя. Перевод впервые — в книге «Творчество народов СССР», с. 182—183. Печатается по тексту книги: А. Твардовский. Дорога, с. 95—96.

Пьяница *(с белорусского)* (стр. 377). — Записано в январе 1937 года со слов колхозника Данилы Леташкова в колхозе «Коммунар» Буда-Кошелевского района БССР. Перевод впервые — в книге: А. Твардовский. Стихи. М., 1937, с. 66—67. Печатается по тексту «Антологии белорусской поэзии», М., 1952, с. 514—515.

Про горе *(с белорусского)* (стр. 379). Зять и теща *(с белорусского)* (стр. 380). — Записано в январе 1937 года со слов колхозницы Марии Алексейковой в колхозе им. Ворошилова Буда-Кошелевского района БССР. Перевод впервые — в книге: А. Твардовский. Стихи. М., 1937, с. 62—63 и 64—65. Печатается по тексту «Антологии белорусской поэзии», с. 515, 513.

Не надейся *(с чеченского)* (стр. 381). — Записано со слов Дзабуры Хакимовой в августе 1935 года в с. Махкети Чечено-Ингушской АССР. Перевод впервые, без указания переводчика, — в газете «Правда», 1937, 9 сентября. Печатается по тексту книги: «Творчество народов СССР», с. 454.

Выбор *(с армянского)* (стр. 382). — Записано со слов Нины Хачатрян в с. Агбаш Камарлинского района Армянской ССР. Перевод впервые — в книге «Творчество народов СССР», с. 452—453. Печатается по тексту книги А. Твардовского «Дорога», с. 109—110.

Колыбельная *(с черкесского)* (стр. 383). — Записано со слов колхозницы Зурият Шаковой в ауле Калмыковском. Перевод под названием «Ждет тебя большая слава...» впервые — в газете «Правда», 1937, 9 сентября. Под названием «Колыбельная» вошло в книгу А. Твардовского «Дорога», с. 107—108. Печатается по ее тексту.

Ю. Буртин, Р. Романова

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТРАНА МУРАВИЯ

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ИВАН ФРАНКО

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

ЯНКА КУПАЛА

МИКОЛА ЗАСИМ

Твардовский А. Т.

Т26 Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 1. Стихотворения (1926—1940). Страна Муравия. Поэма. Переводы. Предисл. К. Симонова. Примеч. Ю. Буртина и Р. Романовой. М., «Худож. лит.», 1976.

432 с.

В первый том Собрания сочинений вошли стихотворения 1926—1940 гг., поэма «Страна Муравия», а также избранные переводы Твардовского (из Т. Г. Шевченко, из Ивана Франко и др.).

Т $\frac{70402\text{-}327}{028(01)\text{-}76}$ **подписное** **Р2**

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ

Собрание сочинений в шести томах

ТОМ I

Редактор
В. БОРИСОВА

Художественный редактор
Д. ЕРМОЛЕНКО

Технический редактор
Г. ЛЫСЕНКОВА

Корректоры
Л. КОНШИНА
и Н. ЗАМЯТИНА

Сдано в набор 30.03.76. Подписано в печать 24.11.76. А12808. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108[1]/32 13,5 печ л. 22,68 усл. печ. л. 17,55 + + 1 вкл = 17,6 уч.-изд. л. Заказ № 114. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 75 к. Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052. Ленинград. Л-52, Измайловский проспект, 29

